Е. Путилова

...НАЧАЛОСЬ В РЕСПУБЛИКЕ ШКИД

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Очерк жизни и творчества Леонида Пантелеева.

Более шестидесяти лет Алексей Иванович Пантелеев работает в литературе. Дважды издано четырехтомное собрание его сочинений, на многие языки нашей страны и стран мира переведены его книги.

Мы по праву с гордостью говорим о нем как о классике, как об одном из основоположников советской детской и юношеской литературы.

- Евгения Путилова
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Приоткрытая дверь в мастерскую
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

Евгения Путилова
«…Началось в Республике Шкид»

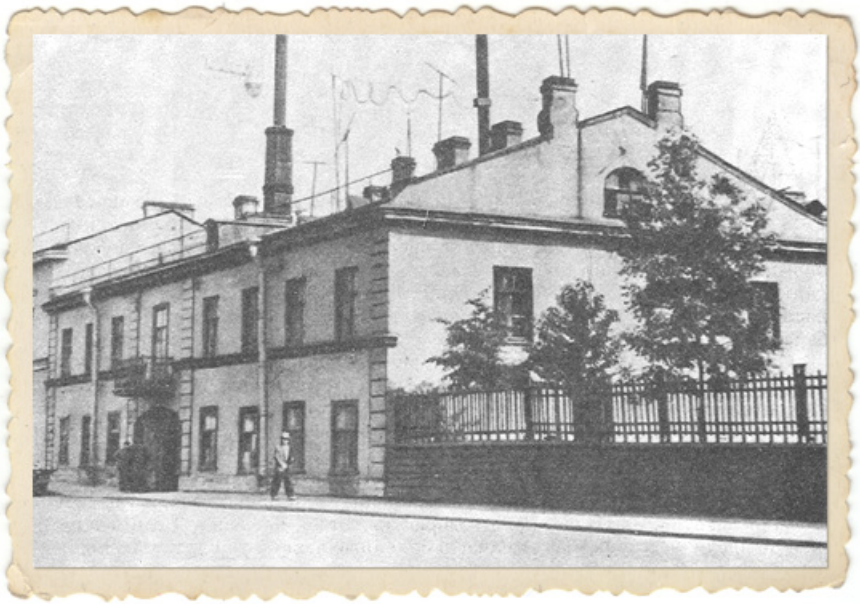
Глава 1
Дом у египетского моста

В этом доме все живы-здоровы
—
Те, которых давно уже нет.
И висячая лампа в столовой
Льет по-прежнему теплый свет.

С. Маршак

Алексей Иванович Еремеев родился в Петербурге 22 августа 1908 года. Первые десять лет его жизни прошли в доме № 140 по Фонтанке, у Египетского моста. В допетровские времена в этих местах была небольшая деревня Кемь. Фонтанка в те годы называлась Кемияки. На петровских картах ее именовали Безыменный Ерик. Дом достался Алешиному отцу по наследству. При доме был лесной двор, где торговали дровами, и досками, барочным лесом.

Отец писателя Иван Афанасьевич Еремеев, не закончив реального училища, против желания матери и отчима, поступил в кавалерийское юнкерское училище в городе Елисаветграде и, кончив его, начал служить во Владимирском драгунском полку. В 1904 году добровольцем ушел в действующую армию, переведясь в 5–1 Сибирский казачий полк. Впоследствии бабушка Алексея Ивановича Александра Ивановна Пурышева вспоминала:



Дом, где родился А. И. Пантелеев. Набережная Фонтанки, 140.

«А как японская война началась, приходит: «Мамаша, говорит, я хочу на войну ехать». — Куда же, я говорю, ты, Ваня, поедешь? Ведь и полк ваш не идет». — «Я не могу. Сейчас и семейные люди и то идут, а я — одинокий».

Первый в сознании Алеши воинский подвиг был связан с именем отца. Еще совсем маленьким много раз слышал он рассказ о том, как отца, молодого казачьего офицера, послали с важным донесением в штаб русского командования. Раненый навылет в грудь, молодой офицер сумел отбиться от неприятеля и, обливаясь кровью, доставил пакет куда следовало. За этот подвиг он получил орден Владимира с мечами и бантом и потомственное дворянство.

Иван Афанасьевич Еремеев, отец писателя.

Перед молодым хорунжим открылась возможность такой желанной еще недавно военной карьеры. Но он подает в отставку… По словам бабушки, большое влияние оказала на него книга А. И. Куприна «Поединок». Могла ли одна книга, даже очень сильно написанная, резко и беспощадно изображавшая быт и нравы царской армии, оказать такое воздействие на Ивана Афанасьевича? Наверно, лучшим объяснением могли служить другие слова бабушки:

«Он думал, что военные люди все какие-то необыкновенные. Но и тут разочаровался».

За этим бесхитростным объяснением стоит гораздо большее: вероятно, Иван Афанасьевич в силу присущего ему особенного чувства чести и порядочности очень скоро ощутил разлад с той средой, к которой прежде так рвался.

В повести «Ленька Пантелеев» есть характерный в этом смысле эпизод. Когда отец увидел в руках у Леньки журнал со своей фотографией, под которой стояла подпись: «Героический подвиг молодого казачьего офицера», он с яростью вырвал у сына журнал, запретив и впредь в него заглядывать. На вопрос оторопевшего Леньки: «Почему?» — отец ответил: «Потому что это — разврат».

Можно привести еще один случай, выразительно характеризующий Ивана Афанасьевича, как-то в компании, где он

оказался, был предложен тост «за здоровье государя-императора». Он поставил рюмку и вышел из комнаты. (Этот эпизод в несколько измененном виде воспроизведен в повести «Ленька Пантелеев»).

В «Записных книжках»[1] писателя есть заметки под шифром «Катя» (условное название ненаписанной семейной хроники). Среди этих заметок имеется очень важная, как бы обобщающая многое в характере отца, помогающая понять причину душевного разлада, недовольства самим собой и другими, всего того, что толкало его подчас на странные и необъяснимые поступки.

«Эпиграф к «Кате» (к той главе, где Ваня отказывается пить за здоровье государя-императора):

«…Хотя шел он сражаться против стороны, которой сочувствовал, однако невозможно было заставить его пить за успех дела, которому он не сочувствовал».

Г. Филдинг. «Том Джонс».

Подав в отставку, Иван Афанасьевич занялся «лесным делом» — тем, которым занимались и дед его, и отец, и отчим. В 1912 году он чтобы не иметь дела с перекупщиками, приобрел небольшой, на две пилорамы лесопильный завод на Неве, у деревни Кузьминки, в двадцати верстах от Шлиссельбурга, в двух-трех километрах от Островков. С этим заводом у А. И. Пантелеева связано много ярких детский воспоминаний: поездка на барже от самого дома, от Египетского моста, до Кузьминок, где в 1913 году жили летом на даче; поездка с отцом и братом Васей на завод зимой 1914 года.

Стать настоящим купцом, торговцем отец не мог: мешали гордый, независимый нрав, прямота, честность, расточительная щедрость. Под тем же шифром «Катя» читаем:

«Бабушка о Ване:

— Сколько ему бедному перестрадать пришлось. И с Аркадием, с отчимом, нелегко ему, разумеется, было. А уж как я огорчалась, когда он в военные уходил. Аркадий говорит: «Не тужи. Все равно вернется». И ведь так и случилось: вернулся.

Говорит об этом бабушка, как о большом счастии и победе. Вероятно, ей и в голову не пришло и сейчас не приходит, что для Вани это была трагедия: возвращение к старому быту, к торговле дровами и «чистым лесом».

Какой уж мог быть из него купец, когда, по воспоминаниям А. И. Пантелеева, отец порвал с товарищем, признавшимся ему, «что носит всегда два кошелька»: один с деньгами, для себя, и другой, пустой, для друзей, которые могут попросить в долг».

Летом 1914 года, в первый день войны, Иван Афанасьевич был призван в армию. В начале революции он пропал без вести,

дальнейшая его судьба осталась неизвестной.

В своих книгах и воспоминаниях писатель с любовью и теплотой говорит об отце, много размышляет о том, почему не нашли применения большие возможности этого незаурядного человека. Навсегда с обликом отца связывалось для него в жизни представление о высшей порядочности, прямоте, независимости.

Мать Алеши Александра Васильевна Спехина родилась в Петербурге, в семье купца первой гильдии — из архангельских крестьян. Родители ее происходили из одной деревни — Зачачье Холмогорского уезда. Архангельский писатель Е. Коковин, автор повести «Детство в Соломбале», рассказывал Алексею Ивановичу, что в этом селе у здания школы стоит памятник (бюст?) Ивану Спехину, основателю школы.

Александра Васильевна и Иван Афанасьевич Еремеевы, родители писателя.

Было это будто бы в пушкинские времена, в начале прошлого века. Молодой Иван Спехин пошел на заработки в Архангельск, нанялся матросом на английский корабль, попал в Лондон и там оказался завербованным в колониальную армию. Много лет провел в Индии. На его долю выпали всякие невзгоды и

приключения. И только на склоне дней, каким-то образом разбогатев, давно став из Ивана Джоном, он сумел вернуться на родину. На свои средства построил в Зачачье школу.

Александра Васильевна окончила казенную гимназию, училась на музыкальных курсах. Была талантлива, много читала, вела дневники, любила писать письма.

Выросшая в достатке, Александра Васильевна не растерялась, когда в суровое время революции осталась одна с тремя детьми. Она просто и достойно приняла новые условия существования. За исключением нескольких лет, проведенных во время гражданской войны под Ярославлем и в татарском городе Мензелинске, вся ее жизнь прошла в Ленинграде. Во время блокады она отказалась от возможности выехать из осажденного города и, пережив все тяготы, дождавшись победы, скончалась в 1949 году.

А.В. Еремеева с сыном Алешей.

Как прошли для самого Алеши ранние его годы? Что вынес он из своего детства? Какие впечатления? Как складывался его характер?

Находясь как-то в гостях у Алексея Ивановича, я попросила его вспомнить что-нибудь из впечатлений детства.

«Я часто думаю о том, как нас воспитывали, — ответил писатель. — Мать не читала нам никаких проповедей. Она много

рассказывала, все ее рассказы запоминались, и, нет сомнения, отложились на всю жизнь. До сих пор помнится рассказ гимназической подруге, которая однажды в Гостином дворе, застегивая портмоне, рассыпала мелочь, но не стала ее подбирать — «постеснялась», видите ли. Из рассказа мамы было ясно, что это ложный стыд, — говоря современным языком, мещанство.

Запомнился один рассказ о каком-то дальнем родственнике, мальчике, который был у нас в гостях, залез к моему отцу на колени и говорит: «Хочу, дядя Ваня, коньки купить». — «Хорошее дело. А где же ты деньги возьмешь?» — «Скоплю. Вот вы мне рублик дадите». — «Пошел вон!» — сказал папа и стряхнул его с колен. Слушая этот рассказ, мы понимали, что клянчить и смешно, и позорно, и стыдно».

* * *

В последние годы Л. Пантелеев опубликовал несколько рассказов — «Лопатка, «Собственная дача», «Сто почтовых марок», «Маленький офицер» — под общим названием «Дом у Египетского моста»; каждый из них передает какое-то значительное событие детских лет.

Несколько замечаний о самом характере, о литературных особенностях этих рассказов. Первые упоминания о замысле проскальзывают в записях, сделанных в тяжелый месяц блокады, в декабре 1941 года. Рядом с потребностью, необходимостью записывать то, что происходит вокруг, властно возникает другая потребность, казалось бы неподходящая для времени:

«Тянет почему-то и на воспоминания детства… Память как будто очищена, промыта чем-то. Видится все — до последней пуговки, до мельчайшего листика на рисунке обоев».

Рассказы эти были написаны много позднее, уже в 70-е годы. Сквозь призму десятилетий отчетливо проступает каждая деталь, каждая краска; явственно слышатся звуки, запахи, голоса. В неприкосновенности сохраняются подробности, факты, происшествия. Пантелеев пристально всматривался в них: время детства для него — это период жизни, полный наблюдений, интенсивной эмоциональной отзывчивости.

Первый рассказ из книги «Дом у Египетского моста» — «Лопатка». Здесь происходит знакомство с главным героем Алешей; ему в это время пять-шесть лет, он активен, его отличает богатое воображение, умение в каждом предмете, каждом явлении увидеть какие-то интересные их особенности, придумать увлекательную игру.

Стоит только Алеше выйти из дома, как он ощущает все запахи двора — «смолистый запах лесного склада, запахи курятника, лаковой мастерской, конюшни, паровой прачечной» и самый сильный запах — земли, «запах гниющего дерева, палых листьев, грибов-дождевиков. Этот запах пронизал все тело, кружил голову».

Вася, Ляля и Алеша Еремеевы.

Каким насыщенным оказывается время для детей! Пока родители готовятся к выходу (семья собралась в гости) и все никак не могут в чем-то разобраться между собой, Алеша и младший брат Вася отправляются в путешествие и успевают побывать на далеком (!) Покровском рынке, промотать огромное — в две копейки — богатство. Им открывается так много интересного — и в маленькой часовенке, и на набережной Фонтанки, и на двух мостах… Они успевают заблудиться и найтись. И, горя от нетерпения, они затевают игру в только что увиденный пароход. Капитан Алеша, приказав матросу Васе наклонить стоящую на дворе каменную тумбу — «трубу парохода», — с радостью видит, что «труба» наклоняется, и последнее, что успевает услышать, — дикий крик Васи.

«Лопатка» — один из самых лирических рассказов этого цикла. Благодарным, счастливым чувством овеяна здесь каждая

строка, говорящая о доме, об отце и матери.

«— Ну, что там, как? — слышу я голос отца. — Перелома нет?

— Слава богу, кажется, перелома нет. Но ты посмотри — какой огромный синячище!

— Н-да. Ничего себе фонарик!

Отец посмеивается, хмыкает, но в голосе его я слышу тревогу и любовь. Его крепкая рука ложится на мой лоб. Приоткрыв чуть-чуть глаза, я вижу другую его руку. В этой отставленной далеко в сторону смуглой руке синевато дымится в маленьком янтарном мундштуке длинная желтоватая папироса». И еще раз приоткрыв глаза, мальчик снова видит «маленький огненно-красный камушек на папином мундштуке», видит до тех пор, пока уже с закрытыми глазами не проваливается куда-то глубоко, «в сон или в обморок».

Поездка вчетвером так и не состоялась, но эти ласковые голоса родителей и этот мерцающий алый огонек запомнятся на всю жизнь…

Алеша по природе своей мечтатель, он часто живет в мире наивных представлений и иллюзий. Первые жаркие его мечты связаны с наследником-цесаревичем, тоже Алексеем. Минутная встреча с августейшим тезкой на дороге в погожий летний денек дает богатую пищу его воображению, подогреваемому еще и тем, что летний дворец царской семьи находится неподалеку от дачи в Старом Петергофе, которую сняли на лето родители Алеши. Долгие дни и особенно вечера, в постели, перед сном, лелеет он картины встреч и задушевных разговоров с наследником — буквального слияния душ. Призрачная жизнь полностью завладевает им.

Весь рассказ построен на очень точной интонации. Одна-две детали — и мы словно видим отчима отца, дедушку Аркадия, с жадно и даже хищно сверкающими глазами, когда внук рассказывает о встрече с наследником. В истории жизненного пути дедушки Аркадия характерно выступают приметы времени. Начав с «мальчика на побегушках», затем неслыханно разбогатев, мечтал о большой карьере для пасынка и внука. На Ивана Афанасьевич он никакого влияния не оказал, а вот в Алеше поначалу сумел вызвать интерес и сочувствие. Рассказ «Собственная дача» начинается словами: «Когда я был маленький, я был ужасный монархист».

Слова эти еще раз говорят о наивности Алеши. Как быстро рушатся его монархические» симпатии! Созданный воображением мальчика цельный мир вдруг делится на две части: по одну сторону оказываются возвращающиеся из леса босиком с грибами шумные и веселые ребята, по другую — грубым пинком

выгнавший Алешу смотритель царской виллы, или, как крикнула ему в лицо оскорбленная за Алешу девочка, холуй. С этим впервые услышанным словом навсегда теперь свяжется для Алеши представление о столь почитаемом розовом царском доме. Что-то оборвавшееся, сломившееся, сдвинувшееся в его сознании повернет его в сторону жизни, отнюдь не такой уютной, как его недавние мечты. Да и отец, совсем не разделяя восторгов сына от встречи с наследником, еще и уязвит его замечанием: «Честь можно было бы отдать и не вставая на колени».

Таким же наивным предстает Алеша и в другой ситуации: он сразу поверил словам бонны, что за собранные сто почтовых марок сможет получить в награду дорогой сервиз или живого китайчонка.

«И вот опять ночь. Все в доме спят. Темно. Помигивает лампадка перед старинным черным киотом. По серому ночному потолку бегут белые бледные блики — то ли карета проехала на той стороне Фонтанки, то ли луна пробирается сквозь волнистые туманы, то ли ветер раскачивает где-то у Египетских бань газовый фонарь.

А ты свернулся калачиком и все об одном: «Сервиз или китайчонок?»

Каким контрастом этой уютной ночной тишине оказывается начинающийся день! Он не только разбивает Алеше мечты, но и заставляет его увидеть, как за пределами обеспеченного дома жизнь приносит другим людям боль, нищету, страдания («Сто почтовых марок»).

Еще один случай, относящийся ко времени первой мировой войны, оставил глубокий след в душе героя. В рассказе «Маленький офицер» Пантелеев передает настроение таких же, как Алеша, не знавших жизни мальчиков, охваченных желанием бежать на фронт. Какая ирония звучит в авторском голосе: оказывается, Алеша давно бы побежал, если бы не одна помеха — стеснялся расспрашивать по пути, где этот фронт находился.

Внимание автора больше всего сосредоточено на отце Алеши. Он появляется в момент необычайного возбуждения сына, потрясенного встречей с раненным мальчиком-офицером. Мало того, что на мальчишке светло-серого сукна офицерская шинель. «… Самое удивительное, даже почти волшебное: на груди у мальчика повис и слегка покачивается — офицерский Георгиевский крест на черно-оранжевой георгиевской ленточке». Чувствуя себя ничтожеством в коротеньких штанишках и в синей матросской курточке, с трепетом смотрит Алеша на героя, стоящего на костылях у стены Гостиного двора, в то время как окружающие его и умиленные до слез барыньки бросают и

бросают ему деньги в уже наполненную до краев фуражку.

Восторженное повествование Алеши о маленьком герое встречает насмешливо-ироническую реакцию отца. На ошеломленного Алешу обрушиваются страшные слова: «Стрелок он, а не герой, этот твой подпоручик». И чтобы окончательно рассеять иллюзии сына, который хватается за эти слова: «Ведь все-таки, значит, он стгелял?» — отец без всякого снисхождения объясняет: «Да. Стрелял. Только не из ружья.

<…>

Стрелками называют мазуриков, обманщиков. Это нищие, которые притворяются калеками, чтобы разжалобить баб». Вынести такое Алеше не под силу: какой-то идеал, какая-то мечта рушатся в его сердце.

Знаменателен последующий разговор отца и сына. Им обоим неловко: отцу — от того, что он готов из жалости к сыну сделать вид, будто поверил в его героя, Алеше — от сознания того, каким нелепым он был в своем отчаянном, яростном споре с отцом. Эта неловкость проявляется и в той кривоватой усмешке, какой обмениваются они друг с другом, и в том, как, разговаривая, отец смотрит куда-то в сторону, а Алеша, опустив голову, старательно выковыривает ногтем канцелярскую кнопку из сукна на столе.

Неожиданно возникает серьезный, значительный разговор. Несколько вопросов и ответов — и отец с повеселевшими, заблестевшими глазами говорит сыну о самом главном, о том, что отличает настоящего человека чести он «христарадничать не станет. Даже если ему и очень худо придется». и хотя отец не произносит здесь слов «достоинство», «порядочность», «совесть», эти высокие понятия незримо присутствуют в том, какими мерками он учит сына поверять жизнь и людей.

В памяти и в сердце Алеши останется не только урок, полученный от отца. Навсегда сохранится воспоминание о той душевной близости, о том большом чувстве, какие объединили их тогда — взрослого и маленького, отца и сына.

Четыре рассказа описывают реально существовавших людей в их реальных взаимоотношениях. Изображенный мир ограничен кругом одной небольшой семьи. Замечательны эти произведения тем, что жизненный материал предстает в формах высокого по мастерству художественного обобщения. Из рассказов «Дом у Египетского моста» возникает много существенных, значимых представлений об атмосфере семейной и общественной жизни кануна и начала первой мировой войны.

* * *

…Была у Алеши Еремеева с самого раннего детства настоящая страсть, за которую брат и сестра дали ему прозвище Книжный шкаф. Вообще все, что имело хоть какое-нибудь отношение к чтению, письму — даже тетрадки, карандаши, линейки, резинки, перья, — вызывало жадный интерес.

Особенно любил, когда попадалась очень старая книга. Его буквально охватывала дрожь, холодело сердце, когда брал в руки такую книгу. Вместе с двоюродной сестрой Ирой зачитывался журналом «Золотое детство». Мать выписывала популярный в те годы журнал «Задушевное слово» с приложениями. Даже запах этого журнала, как и старой отцовской «Книги для чтения», запомнился навсегда.

Читал, конечно, сказки, любил Андерсена. Потом произошел резкий скачок, когда он открыл для себя собрания сочинений Марка Твена, Диккенса, романы Конан Дойла. Все это богатство хранилось в книжном шкафу отца, а проникал Алеша в его кабинет тайно. Вслед за этими книгами он стал потихоньку читать то, что читала мать, далеко не всегда подходящее по возрасту: Достоевского, Толстого, Леонида Андреева, Писемского. До сих пор помнит, как читал, забывая все на свете, жадно пожирая страницу за страницей, половины не понимая или понимая по-своему; как замирал от ужаса и восторга, глотая слезы, всем существом своим растворяясь в этом созданном чужой фантазией мире.

Книги заменяли в то время друзей. Книги выручали морально, когда приходилось трудно, и позже: уже подростком (жизнь которого никак не складывалась) долгими часами мог простаивать он в букинистических лавках, оставляя торговцам немало рублей и копеек, сбереженных от небольших заработков.

Еще в раннем детстве начал Алеша писать и сам. Сочинял стихи, пьесу, приключенческие рассказы, взялся даже за большой авантюрный роман под таинственным названием «Кинжал спасения», в котором действовали разбойники, контрабандисты, сыщики. Лет восьми-девяти составил небольшой трактат под названием «Что такое любовь?», где говорил о любви материнской и приводил примеры из Достоевского, Тургенева, Толстого.

В 1916 году Алеша поступил во 2-е Петроградское реальное училище, но успел проучиться там всего один год. На этом, кажется, его систематическое образование и кончилось. Не один раз делал он попытку снова учиться. По его собственному подсчету, всего он учился в тринадцати или четырнадцати учебных заведениях, среди которых числились и приготовительные училища, и бывшая частная гимназия, и

сельскохозяйственная школа, и профтехшкола, и рабфак, и военное училище, и курсы киноактеров, и еще многие другие. Но так складывались обстоятельства, что ни одного из них не пришлось ему кончить…

Революция полностью перевернула привычный и установившийся уклад жизни родительского дома, со всеми его традициями, с гувернантками, боннами, горничными.

Весной 1918 года Александра Васильевна увезла детей из Питера в деревню Ченцово Ярославской губернии подкормиться. Уезжая, семья была уверена, что к осени вернется обратно.

Не успели они обосноваться в деревне, как Алеша заболел дифтеритом, и мать повезла его к врачу в Ярославль. Как раз в это время в городе вспыхнул эсеровский мятеж. Под ружейным и артиллерийским огнем Александра Васильевна и Алеша бежали из объятого огнем города.

Алеша, Ляля и Вася. 1915.

До осени 1919 года Александра Васильевна с детьми и приехавшая туда семья ее сестры жили в Ченцове, а потом в поисках более хлебных мест перебрались в город Мензелинск километрах в десяти то Камы. Жизнь там тоже оказалась трудной и голодной. И все-таки Александра Васильевна получила работу: она стала заведовать детским садом, давала уроки музыки, играла на рояле на киносеансах в городском клубе. В Мензелинске Алеша снова стал учиться — сначала в бывшем реальном училище, потом в профтехшколе. (История того, как он взялся, ни разу не держав в руках рубанок и пилу, сделать табуретку и что из этого получилось, замечательно описана в повести «Ленька Пантелеев».) Пробовал он продолжать литературные занятия: писал стихи, сочинил пьесу, которая разыгрывалась в помещении общественной столовой.

Все это оборвалось с отъездом матери в Петроград. Она должна была скоро вернуться, но долгое время от нее не было никаких известий. Жить стало не на что, младший брат Вася ушел учиться на ферму. Следом за ним тетка отправила туда же Алешу…

С этой фермы, где ребята должны были добывать себе пропитание сами, и начался мучительный путь Алеши: первые уроки воровства, побег с фермы; потом он попал в детский дом, расположенный в бывшем монастыре, и участвовал в общем налете на припрятанные там кем-то вещи. Так закрутилась, пошла зигзагами то вверх, то круто вниз его жизнь.

В общем, Алеша растерял семью, несколько лет скитался по России, побывал за это время и у белых, и у красных, попадал в детские дома и колонии. Не раз сидел он и за решеткой, не однажды приходилось ему «иметь дело с законом», что считал он «справедливым воздаянием за содеянное». В этом смысле он разделил участь многих тысяч ребят: время империалистической войны, революции войны гражданской, голода, разрухи породило целые армии беспризорников, вынужденных добывать себе пропитание и кров самыми изощренными способами.

Да и после возвращения в Петроград в 1921 году жизнь никак не могла наладиться. Квартира на Фонтанке, в доме у Египетского моста, была занята другими людьми, семью приютила старшая сестра Александры Васильевны. Найти работу было почти невозможно.

Это было время нэпа. Сестры помогли Александре Васильевне открыть на Сенной чайную, Алеша работал там официантом. Крошечное заведение на пять столиков не приносило никакого дохода. Неудачей кончилось намерение Алеши вернуться в школу; недолго проработал он «мальчиком» на частном лимонадном заводике. И дальше все завертелось каруселью: то Алеша решился было открыть игру в рулетку — «кручу-верчу» — в надежде выиграть много денег; то попытался попробовать счастья в торговых делах. Из всего этого, конечно, ничего не вышло. Полуголодная жизнь, сплошное невезение — все это подтолкнуло к прежнему: опять пошли приводы, пока после очередного случая его не отправили из уголовного розыска в детский распределитель, или приемник, затем под конвоем в Комиссию по делам несовершеннолетних. А оттуда уже в школу имени Достоевского. Было это в конце 1921 года.

Еще шла гражданская война, когда наряду с другими вопросами, требующими неотложного решения, встал вопрос о беспризорных детях, кочующих по дорогам страны, умирающих от голода и болезней, гибнущих в притонах, в шайках воров,

вовлекаемых опытными бандитами в преступную жизнь. Была создана специальная комиссия во главе с Ф. Э. Дзержинским. Открывались особые интернаты, школы, детские дома; подыскивались люди, выделялись средства.

Осенью 1920 года в Петрограде, в только что отремонтированном здании бывшего коммерческого училища по Старо-Петергофскому проспекту, 19 (ныне проспект Газа), открылось заведение, носившее длинное, сложное название: «Школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского». В школу стали прибывать ребята из самых разных мест — из «нормальных» детских домов, из тюрем, из распределительных пунктов, из отделений милиции. Длинное и трудное название школы первая же партия воспитанников удобно сократила в «Шкид», по остроумному предположению Маршака, сокращение легко привилось из-за того, что в новом слове беспризорники слышали нечто им знакомое, близкое по созвучию с привычными уличными «шкет» или «шкода».

Заведующий этой школой так впоследствии охарактеризовал своих первых питомцев:

«Ребята, которых направляли в школу имени Достоевского, в большинстве случаев были прошедшими сквозь огонь и воду, закаленными телом и духом людьми. Уцелев в этом противоестественном отборе, в этой непосильной тяжелой школе жизни, они никого не боялись — ведь им в сущности и терять-то было нечего; они умели быстро ориентироваться в любой обстановке, умели находить выход из трудных положений, умели и наносить, когда нужно, меткие удары, но они были в тоже время и детьми, глубоко изувеченными… непосильными для их возраста переживаниями».

С этой школы началась новая жизнь для Алеши Еремеева.

Глава 2
От Леньки Пантелеева к Л. Пантелееву

Бросим прежнее житье,
Позабудем, что прошло.

(Из шкидского гимна)

Каждый, кто попадал в Шкиду, получал прозвище. Обычно оно давалось сразу же, раз и навсегда: меткий глаз ребят схватывал или какие-то внешние особенности новичка, или какие-то черты характера, поведения. Были там Воробей, Купец, Мамочка, Цыган, Японец.

Алексей Еремеев стал Ленькой Пантелеевым. Имя Леньки Пантелеева, крупного налетчика, приводившего в трепет владельцев булочных, кафе, мануфактурных магазинов и бакалейных лавок, пользовалось в те годы легендарной славой в преступном мире, в том числе среди бывших малолетних правонарушителей, населявших школу Достоевского. Особенно восхищало ребят то, что после «удачного дела» их герой, желая, конечно, покрасоваться, переводил в несколько учебных заведений небольшие суммы и сопровождал перевод обязательной подписью: С почтением к наукам, Леонид Пантелеев». Трехлетние похождения Алеши Еремеева настолько, видимо, поразили воображение его товарищей, что решение пришло сразу: быть ему Ленькой Пантелеевым.

А.И. Пантелеев, 1927.

Здесь, в Шкиде, принял Ленька Пантелеев новые условия жизни: он много и серьезно читал, многому научился, здесь получила развитие его тяга к литературному творчеству.

В Шкиде началась его дружба, или, как это называлось там, слама, с Гришей Белых. Сламщиками становились многие. Но эта слама была особенная: она перешла в настоящую дружбу, духовно обогатившую обоих. На многие годы их связали любовь к литературе, увлечение кинематографом, общие планы и мечты. Уже в Шкиде они пытались создать свое «Шкидкино». Вместе сочиняли лихие романы.

«В течение целого месяца, — вспоминает А. И. Пантелеев, — Гриша Белых и я выпускали газету «День» в двух изданиях — дневном и вечернем, — причем в вечернем выпуске печатался изо дня в день большой приключенческий роман «Ультус Фантомас за власть Советов». таких примеров можно привести много.

Кем же был до Шкиды дружок Леньки Пантелеева? Что привело его сюда?

Григорий Георгиевич Белых (1906–1938) роился в Петербурге и детство провел в пристройке к большому петербургскому дому

по Измайловскому проспекту, 7. Отец его умер рано, все тяготы большой семьи легли на плечи матери, Любови Никифоровны, как вспоминает о ней А. И. Пантелеев, женщины замечательной. Она была прачкой, потом галошницей.

Еще подростком паренек отбился от дома, быстро выучившись читать, он перестал ходить в школу и проводил почти все время на пустыре, читая взахлеб Ната Пинкертона или развлекаясь с товарищами.

Пропитание он добывал себе разными способами: перевозил с вокзалов за кусок хлеба тяжелую кладь мешочников, а случалось, занимался и мелким воровством.

Пошли один за другим детские дома, колония, пока наконец он не получил путевку в Шкиду.

После двухлетнего, а для Гриши трехлетнего пребывания в школе сламщики решили, считая себя уже взрослыми (одному было пятнадцать, другому семнадцать), покинуть Шкиду и отправиться в Баку. Они были уверены, что режиссер фильма «Красные дьяволята» Иван Перестиани обрадуется приезду таких многообещающих актеров.

Но путешествие откладывалось: не было денег. Пантелеев поселился у матери, на Мещанской, 12. К тому времени Александра Васильевна вторично вышла замуж. Квартира была крошечная, спать Алеше пришлось на сундуке в коридоре. Младший брат Вася работал в частной мастерской учеником слесаря, потом перешел в кондитерскую. Жили бедно. Мать делала искусственные цветы, Алеша и младшая сестра Ляля торговали ими на рынке, в пивных и чайных, некоторое время с ними торговал цветами и Гриша Белых. На улицах и в трамваях Алеша и Гриша торговали газетами.

В то же время, с зимы 1924 года, они стали понемногу печататься в юмористическом журнале «Бегемот», в «Смене», в «Кинонеделе». Так, однажды Гриша Белых напечатал статью «Нам нужен Чарли Чаплин», скромно предложив на этот «пост» … свою кандидатуру. Печататься было непросто: А. И. Пантелеев вспоминает, как, сочинив очередную порцию анекдотов и подписей к карикатурам, он нес их в «Бегемот», на Фонтанку, и там «милый, по-петербургски интеллигентный человек, секретарь редакции В. Черний, проглядывал анекдоты и отбирал из полсотни один-два, редко три». Его Пантелеев считает своим литературным крестным отцом.

На поиски кинематографического счастья друзья отправились в самом начале лета 1924 года. Денег Александра Васильевна дать им не могла, а дала самое ценное, что у нее было: пачку с полпуда весом цветной рогожки, в какую обертывались корзины с

искусственными цветами. Эту рогожку мучительно долго продавали в Москве, на Сухаревском рынке, с трудом нашли покупателя.

Так начался их путь на юг — с двумя червонцами в кармане. По дороге заезжали к Алешиной бабушке в Боровск, где прожили неделю. Запомнились дом, где ночевал Наполеон, могила боярыни Морозовой, Пафнутьевский монастырь, основанный Годуновым, старообрядческие храмы. От Малоярославца до Харькова добирались уже пешком или «зайцами», в товарных вагонах или на крышах. Этот способ путешествия за годы скитаний был хорошо освоен Алешей. У Гриши такого опыта не было, и вообще ему было труднее: он никогда не выезжал из Питера дальше Лигова и Петергофа. Он заскучал по матери, по улицам родного города. Но главное — слишком ничтожным показался ему результат совместного путешествия: он рассчитывал на лавры киноартиста или кинорежиссера, а вместо этого с трудом удалось получить (и не на Кавказе, а в Харькове) на двоих одно место — ученика киномеханика в кинобудке (да и не было великой удачей). Гриша жребий тянуть отказался, и друзья расстались. Белых уехал домой.

Работа Алеше понравилась, но у него не было ни жилья, ни прописки: оформить его на работу не могли. Месяц или два ночевал он попеременно в Ботаническом или Зоологическом садах, рисовал плакаты, ярлыки с ценами для рыночных торговок.

Маму расстраивать не хотелось, писал ей «радужные», завиральные письма. Но пришел день, когда Алеша не выдержал и написал ей, что «в данный момент» оказался «не при деньгах». Мама перевела, сколько сумела: три рубля. Алексей Иванович вспоминает очередь к окошечку «до востребования». Перед этим он три дня ничего не ел («только воду стегал») и съел лишь подобранный на улице огрызок абрикоса, вымыв его предварительно в струе городского фонтана. Не дойдя до почтового отделения, обессилел, зашатался и упал.

Вообще, южные злоключения и приключения друзей были довольно трудными, но ни разу они не взяли ничего чужого — после Шкиды этого уже быть не могло. Еще боле сложной оказалась жизнь Алеши, когда он остался один. Одно время он был поводырем слепого нищего, бывшего мельника; сам не просил, но — милостыню ел. Именно тогда встретился ему ловкий и неунывающий Аркашка, суливший своему новому приятелю легкую жизнь. Постоянно на пути подстерегали всякого рода соблазны, напоминавшие о прошлом. Из этих серьезных испытаний, из трудной борьбы с обстоятельствами он вышел победителем, но не забыл ни встреч на его пути, ни тех

беспризорных ребят, с которыми снова свела его судьба. Эти впечатления немного позже нашли отражение в рассказе «Портрет», в повести «Часы».

Запомнилось навсегда возвращение в Петроград. Перебираясь с поезда на поезд, а в последний раз в вагоне, груженном углем, он добрался до Николаевского (Московского) вокзала и, оборванный, вымазанный углем, черный, страшный, пугая прохожих, оказался наконец у себя дома.

Александра Васильевна нашла ему место ученика повара (или просто поваренка) большого ресторана «Ново-Александровск». Там он пробыл полгода, до закрытия этого частного предприятия. В это время он снова пошел учиться, на частные курсы киноактеров. И снова — вместе с Гришей Белых — работал в газете «Смена» внештатным кинорепортером, писал кинорецензии, печатался в журналах «Юный пролетарий», «Работница», «Кинонеделя», в комсомольском юмористическом журнале «Будь жив!».

Дохода у семьи почти не было. Отчим безуспешно пытался обзавестись какими-то собственными делами, мелкими, копеечными. Последнее его предприятие — кипяточная на Тамбовской улице, где шла торговля кипятком, требухой, «собачьей радостью», — развалилось.

Одно время Алеша снимал какие-то каморки, один раз оказался в Столярном, или Казначейском, переулке в густо населенном доме, где, по преданию, жил Раскольников. Комната была на пятом этаже, узкая, как щель, с окном на потолке так называемый верхний свет). С большим рудом Гриша и сестра Алеши втаскивали в это жилище по узкой питерской лестнице старую железную кровать.

В 1925 году мать Гриши Белых предложила Алеше жить у них. Он поселился в комнатке возле кухни в квартире на Измайловском проспекте, 7. Около трех лет прожили возле кухни в квартире на Измайловском проспекте, 7. Около трех лет прожили здесь друзья вместе. Немало у каждого из них рождалось замыслов, немало было уже и написано — и в стихах и в прозе. Сюда, в эту квартиру, к молодым авторам приходили впоследствии С. Маршак, Е. Шварц, В. Лебедев, редактор веселых журналов «Еж» и «Чиж» Николай Олейников. Здесь бывали и многие шкидцы — Цыган, Японец, Дзе, Костя Лихтенштейн.

В одном журнальном интервью Пантелеев вспоминал, как однажды, как однажды морозным зимним вечером 1926 года они с Гришей шли в кинематограф «Астория» и Гриша вдруг неожиданно сказал: «давай писать книгу о Шкиде». — «А что, давай!» — не задумываясь, ответил Алеша товарищу.

До сих пор помнит Алексей Иванович название фильма, который шел в тот вечер в «Астории»: «Кирпичики», но вот о чем был фильм — при всем желании не смог бы рассказать, потому что друзья на экран не смотрели. То и дело за их спинами раздавалось: «Мальчики, тише! Мальчики, вас выведут сейчас!»

Но они и этих окриков не слышали: торопясь, радуясь, волнуясь, вспоминали случаи из шкидской жизни, которые должны были войти в книгу. Название ее пока определилось так: «Королевство Шкид».

Когда авторы пишут вдвоем, у читателя обычно возникает вопрос: как это у них получается? В юмористической автобиографии Ильф и Петров жаловались на необычайные трудности совместного творчества: «… трудно, очень трудно. Один здоров, другой болен. Больной выздоровел, здоровый ушел в театр. Здоровый вернулся из театра, а больной, оказывается, устроил небольшой разворот для друзей, холодный бал с закусочкой… Совершенно непонятно, как это мы пишем вдвоем».

У молодых авторов все было проще. На те деньги, которые они наскребли, купили махорки, пшена, сахара, чая и, запершись в Гришиной комнате, принялись за работу. Опыт совместной работы у них уже, как мы помним, был. В узкой комнате с окном, выходящим на задний двор, стояли две койки, между ними — небольшой стол. Все условия для творчества двух летописцев Шкиды имелись. Несколько дней ушло на записывание того, что вспомнилось сразу же. Поминутно в комнате раздавалось: «А помнишь?… А помнишь?» И кто-нибудь лихорадочно записывал на обрывке бумаги: «Пал Ваныч», «Асси», «Летопись», «Пожар», «Улиганштадт». Это были значки, символы, за которыми каждый из них видел человека или событие.

Из груды материала они выбрали тридцать два сюжета, хотя могли выбрать гораздо больше. Каждому досталось по шестнадцать глав. Первые главы писал Гриша: он попал в Шкиду раньше, чем Пантелеев. Но все равно каждую главу обсуждали вместе, критиковали друг друга. Работали с утра до глубокой ночи — «работа была, что называется, запойной». Поучительные, веселые, драматические события столь недавнего прошлого ярко вставали в памяти, переживались с новой силой, и одна глава следовала за другой с лихорадочной быстротой. «Книжку мы писали залпом, в три месяца, — вспоминал много лет спустя Г. Белых. — Работать было легко. Материал не требовал от нас никаких усилий».

Закончив рукопись, молодые авторы стали думать: куда идти с ней?

Сначала было решено отправиться в издательство «Прибой»,

но потом показалось, что лучше обратиться к заведующей губоно (Губернского отдела народного образования) Злате Ионовне Лилиной.

Вот как об этом вспоминает Л. Пантелеев:

«Лилина была единственным крупным деятелем, лично нам известным. Проникнуть в кабинет завнаробраза оказалось делом нетрудным. Но хорошо помню испуганное лицо Лилиной, что-то даже вроде ужаса на этом лице, когда она поняла, что ей предстоит читать огромную пухлую рукопись, которую приволокли к ней два вчерашних детдомовца.

Конечно, только по доброте душевной, из жалости, она согласилась оставить у себя эту махину».

Уверенные в провале, авторы целый месяц не приходили узнать о результатах. А их, оказывается, уже разыскивали!

Отправляясь на Казанскую улицу, в губоно, соавторы не знали об одном важнейшем обстоятельстве: по совместительству Лилина заведовала тогда детским отделом Ленинградского Госиздата. Они не знали, с каким замечательным человеком свела их тогда судьба.

В комментариях к последнему изданию полного собрания сочинений В. И. Ленина есть справки о Лилиной З. И.: «Член РСДРП с 1902 г. Принимала активное участие в нелегальной работе в России. В 1908 г. эмигрировала за границу, сотрудничала в газетах «Звезда», «Правда», в журнале «Работница». в апреле 1917 г. возвратилась в Россию. После Октябрьской социалистической революции — на партийной и советской работе»[2]. «Во время мировой империалистической войны ведала транспортом литературы. Состояла одним из секретарей Бернской секции большевиков»[3].

Ее партийная кличка за границей была Зина, в России — Мария. В. И. Ленин неоднократно обращался к ней с ответственными заданиями.

Среди поручений, которые выполняла Лилина после революции, значительное место занимала ее работа с детьми. В ее ведении оказались детские дома, и она много сил отдала борьбе с детской беспризорностью. Столь же горячее участие принимала она в жизни новой школы, в работе пионерского движения, в создании художественных учреждений для детей.

Тепло, с благодарностью говорил о Лилиной заведующий школой имени Достоевского В. Н. Сорока-Росинский. Ее доверие к людям, ее помощь, вспоминал он, открывали перед петроградским учительством широчайшие возможности, вдохновляли «на преодоление любых трудностей на новом пути всех педагогов, в ком жива была душа человеческая, кто

воспринял Октябрь, как свое кровное дело».

На мою просьбу рассказать о Лилиной, вспомнить, какой она была, Алексей Иванович ответил письмом:

«Делаю обещанное: выписываю из своей тетрадки те крохи, которые остались в памяти.

<…> Какая она была? Сколько ей было лет? Не знаю. Вероятно, под пятьдесят[4]. Но нам по нашей щенячьей молодости она казалась человеком очень пожилым… Стриженная в кружок, сильно поседевшая, но еще живая, деятельная, бойкая…

Мы с Гришей были влюблены в Злату Ионовну, смотрели на нее как на доброго гения. Неизвестно, как сложилась бы судьба книги, не попади рукопись фатальным образом в ее руки.

<…> обще-то мы видели Злату Ионовну не часто: по-моему, она бывала в издательстве не каждый день, а два-три раза в неделю. Да и мы не столь уж часто заглядывали в редакцию. Потом она заболела…

Память сохранила такую мелочь. Солнечный день. Комната редакции. Злата Ионовна сидит на краешке стола. Ее окружили. Кто-то из молодых редакторш говорит:

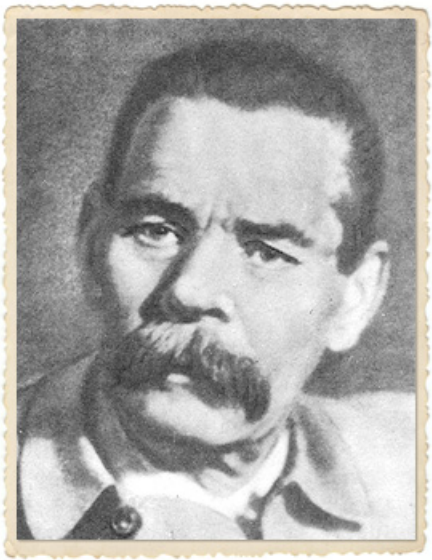
— Какая у вас, Злата Ионовна, славная жакетка.

В этой синей люстриновой курточке с маленькой, аккуратной, величиной с трехкопеечную монету заплаткой на локте я помню Злату Ионовну и в губоно, и в редакции…

— Да, — говорит Злата Ионовна, с какой-то мечтательной улыбкой поглаживая залатанный локоть. — Это мы с Надеждой Константиновной в Цюрихе покупали…»

Как вспоминала Н. К. Крупская, первая их встреча произошла в 1904 году. «Лилина была тогда цюрихской студенткой, работавшей в тамошней группе большевиков»[5].

Вот в чьи руки попала первая книга молодых литераторов!



А.М. Горький

С.Я. Маршак

С именем Лилиной связана для «Республики Шкид» еще одна подробность. Замечательный ученый, ныне покойный профессор ленинградского университета П. Н. Берков, работавший в 20-е годы инспектором губоно, вспоминал, как завгубоно посылала его в школу узнать о Белых и Пантелееве, удостовериться, точно ли они авторы так понравившейся ей рукописи и не стоит ли а ними какое-нибудь другое, более солидное лицо. Оказалось, там даже не слыхали о существовании рукописи. В. Н. Сорока-Росинский забеспокоился, поехал в Госиздат и попросил показать, что написали его бывшие воспитанники. Ему показали. Кое-что его обидело и огорчило, одно место он попросил изменить: он никогда не обращался к Элле Андреевне на «ты»… За эту поправку Виктора Николаевича поблагодарили, остальное сохранилось в неприкосновенном виде.

…Итак, по указанию Лилиной авторы отправились к С. Маршаку, Е. Шварцу, Н. Олейникову. Между прочим, ни одна из названных фамилий ничего им тогда не говорила, но дадим слово самому Пантелееву:

«И вот в назначенный день мы с Гришей Белых робко поднимаемся на пятый этаж бывшего дома Зингер, с трепетом ступаем на метлахские плитки длинного издательского коридора и вдруг видим — навстречу нам бодро топают на четвереньках два взрослых дяди — один пышноволосый, кучерявый, другой — тонколицый, красивый, с гладко причесанными на косой пробор волосами.

К.И. Чуковский

Е.Л. Шварц

Несколько ошарашенные, мы прижимаемся к стене, чтобы пропустить эту странную пару, но четвероногие тоже останавливаются.

— Вам что угодно, юноши? — обращается к нам кучерявый.

— Маршака… Олейникова… Шварца, — лепечем мы.

— Очень приятно… Олейников! — рекомендуется пышноволосый, полнимая для рукопожатия правую переднюю лапу.

— Шварц! — протягивает руку его товарищ.

Боюсь, что современный молодой читатель усомнится в правдивости моего рассказа, не поверит, что таким странным образом могли передвигаться сотрудники советского государственного издательства. Но так было, из песни слова не выкинешь. Позже мы узнали, что, отдыхая от работы, редакторы разминались, «изображали верблюдов». Евгению Львовичу Шварцу было тогда двадцать девять лет. Николаю Макаровичу Олейникову, кажется, и того меньше».

Вся редакция встретила молодых авторов приветливо, даже восторженно. «Сотрудники редакции, — писал позднее С. Маршак, — и близкие к ней литераторы (а среди них были известные теперь писатели Борис Житков, Евгений Шварц, Николай Олейников) читали вместе со мной эту объемистую рукопись и про себя и вслух. Читали и перечитывали. Всем было ясно, что эта книга — явление значительное и новое».

Еще в рукописи Е. Шварц в присутствии авторов читал К. Чуковскому главу «Республики Шкид» под названием «Крокодил». И навсегда запомнилось молодым людям, как Корней Иванович «слушает, посмеиваясь, одобрительно поддакивая, потом, повернувшись в нашу сторону, разводит руками и говорит своим неповторимо певучим, высоким театральным, ложно-классическим голосом: «Ну, что ж… Нам тлеть, вам цвести!..»

Официальным редактором «Республики Шкид» был Е. Шварц.

«Редактура Евгения Львовича, — вспоминал позднее Пантелеев — была очень снисходительная и, как я сейчас понимаю, очень умная. Книгу писали два мальчика, только что покинувшие стены детского дома, и выправить, пригладить, причесать их шероховатую рукопись было нетрудно. Шварц этого не сделал.

В редакции детской литературы Ленинградского отделения Госиздата. Слева направо: Н.М. Олейников, В.В. Лебедев, З.И. Лилина, С.Я. Маршак, Е.Л. Шварц, Б.С. Житков. Конец 20-х годов.

Меня попросили переписать одну главу (написанную почему-то ритмической прозой), а остальное было оставлено в неприкосновенности. Тем самым сохранилось главное, а может быть и единственное достоинство повести — ее непосредственность, живость, жизненная достоверность».

Рукопись была пущена в производство, и в начале 1927 года

«Республика Шкид» Г. Белых и Л. Пантелеева появилась на полках магазинов и библиотек.

Литературным псевдонимом А. И. Еремеев взял свою шкидскую кличку. Но ни Ленькой Пантелеевым, ни Леонидом Пантелеевым он после этого не стал. Буква «Л» в его литературном имени никак не расшифровывается.

Глава 3
«Республика ШКИД»

Для меня эта книга — праздник

М. Горький

По воспоминаниям Маршака, из библиотек стали сразу же приходить сведения, что «повесть читают запоем, берут нарасхват».

Чем же можно объяснить такой успех книги? Может быть, сама тема, сам материал были достаточно экзотичными? Вряд ли: книг о правонарушителях имелось в то время немало и удивить читателя рассказом о каком-нибудь исправительном учреждении было бы довольно трудно. Удивить могло лишь повествование, открывавшее читателю что-то новое, острое, яркое.

…Середина 20-х годов знаменовалась приходом в литературу многих молодых писателей. «Мы входили в литературу волна за волной, нас было много. Мы приносили свой личный опыт жизни, свою индивидуальность», — писал А. Фадеев, размышляя над истоками и начальным периодом развития молодой советской литературы.

Почти одновременно с «Республикой Шкид» выли в свет книги молодых писателей, отразившие бурное и еще не устоявшееся время начала 20-х годов. Новая жизнь, сложная, полная внутренней борьбы, требовала осмысления. Прежний мир уходил в прошлое, ломались многие старые традиции. Казалось (особенно молодым людям): все, что было прежде в быту, в общении в учебе, безжалостно обречено на слом.

В одной из замечательных книг тех лет — «дневнике Кости Рябцева», Н. Огнев нарисовал школу, ищущую новые формы обучения, новые формы отношений между учителями и учащимися. Герой повести Костя Рябцев и его друг Сережа Блинов, ученики шестого класса, ставят под сомнение все, что происходит в школе. Нужны ли, например, танцы: ведь в них «нет ничего научного и разумного», и не проявляется ли в них идеологическая невыдержанность? Нужен ли сегодня Шекспир, ибо в «Гамлете» Костя обнаруживает массу неувязок и «страшно много бузы». Правда, он готов что-то и простить Шекспиру, «потому что пьеса написана чуть ли не пятьсот лет тому назад, и Шекспир писал для королевы, а не для пролетариата».

Не пора ли вообще отменить понятие «дети», как отжившее и

буржуазное? Считать или не считать предрассудком привычку причесываться и умываться? Обязательно ли здороваться, особенно с учителями? «А если ученику не до здорованья?»

Много еще в чем сомневаются учащиеся, но в одном пункте у них нет колебаний: совершенно необходимо вести «идеологическую» борьбу с учителями, или, как их называли тогда, школьными работниками, а сокращенно — шкрабами.

Вступая в эту борьбу, ребята, кажется, руководствуются железной логикой: если во всей стране взяло власть в свои руки большинство, почему это не касается школы? Разве нормально, когда все дела решаются горсточкой шкрабов, а ученики, таким образом, оказываются чуть ли не на положении крепостных крестьян? «Я окончательно решил, — говорит Сережа Блинов, — произвести в школе революцию». Каким ударом для него становятся слова старшего и опытного товарища, объясняющего, что никакой борьбы с учителями ему вести не следует, потому что «школа хотя и не без дефектов, а идет нормально» и учителя вполне «соответствуют своему назначению».

Рассказывая в «Моем поколении» о своих товарищах, подростках 20-х годов, Б. Горбатов рисует схожие ситуации школьной жизни. И здесь педагоги бочком, осторожно проходили через толпу ребят в учительскую, и здесь ребята требовали, чтобы вопросы, какие предметы нужны, какие нет, каких учителей оставить, каких убрать, кого принимать и переводить в следующую группу, и многие другие проблемы решала высшая власть в школе: школьный совет. По предложению главного героя повести Алеши Гайдаша старостат переименовывается в исполнительный комитет учащихся, а сам он становится председателем исполкома.

Это было время, когда наличие мамы и папы могло послужить отрицательной характеристикой для приема в комсомол; когда возникали страстные споры о том, позволено ли комсомольцу носить галстук, имеет ли право комсомолка выходить замуж или вообще думать о личной судьбе, о личном счастье: не будет ли это знаменовать собой измену идеалам революции? Уличенная в том, что у нее на окнах занавески, а на стенках картинки, героиня повести «Мое поколение» Юлька с горечью думает о себе: «Не будет из меня коммунистки».

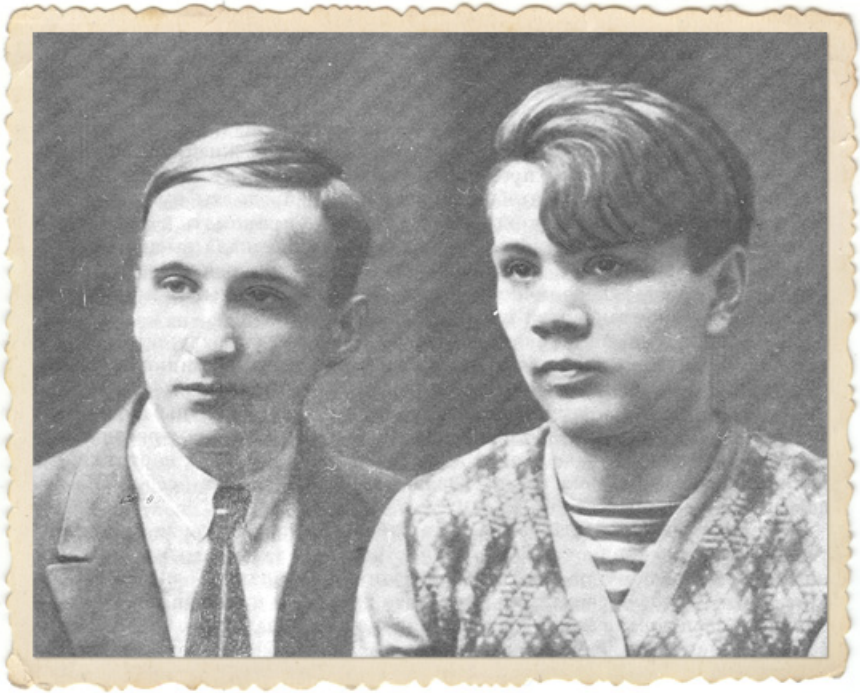
Вместе с тем Костя Рябцев, Алеша Гайдаш, Юлька — герои, привлекательные своей искренностью, своими чистыми мечтами построить мир «по-новому, по-хорошему, на новых и справедливых началах». Только в головах этих ребятах многое перепуталось: маловато имелось у них знаний, были они слишком поспешны в этом своем стремлении переделать мир.

Они не знали самых элементарных вещей, они не представляли себе, как растет пшеница и что такое простые дроби. Им надо было понять: прежде чем переделывать мир, они должны были во многом переделать себя.

Всем своим внутренним настроем, всей своей идейной направленностью «Республика Шкид» примыкала к этим книгам, она отвечала на самые острые вопросы, поставленные жизнью перед молодым поколением. Именно поэтому повесть далеко вышла за пределы собственно «правонарушительской» темы. Авторы повели в ней необычайно актуальный для литературы 20-х годов разговор: о человеке, его возможностях, которые могут пропасть, погибнуть или, напротив, открыться, выказать себя с огромной силой.

Ощущение нового времени, когда уходил в прошлое старый мир и в борьбе создавался совсем иной, определяет жизнерадостный настрой книги. И успех «Республики Шкид» в ряду других книг о молодом поколении, вероятно, был в большой степени обусловлен тем, что читатель сумел увидеть судьбы героев не только в начале их трудного пути, не только в движении, но в результатах, в ощутимых итогах; читатель сумел заглянуть не только в настоящее героев, но и в их будущее.

«Республика Шкид» поражает яркостью красок, непосредственностью, остротой: ведь ее авторы еще не остыли от буйного темпа жизни школы; в каждом событии, описанном здесь, в каждой главе как будто заложен заряд пороха. Достаточно посмотреть в оглавление, чтобы убедиться, сколько смешного, драматического, таинственного и увлекательного собираются преподнести читателю авторы: «Кладбищенский рай», «Роковой обед», «мокрая идиллия», «Руки вверх», «Монашенка в штанах», «Любовь и мыло»…



Г. Г. Белых и А. И. Пантелеев, 1928.

Они не ставили перед собой преднамеренно никакой педагогической задачи, но именно потому, что ни одна сторона в их рассказе о жизни школы не была обескровлена и повествование велось с такой полнотой, им удалось передать психологическое и эмоциональное своеобразие той среды и сказать многое о воспитании человека.

Они писали не воспоминания, а полностью живя тем временем это еще было их настоящее! Но с другой стороны, книга создавалась, когда авторы ее находились уже на известной высоте, откуда им видны были не только зигзаги движения, но и самый процесс и его результаты.

Эти два плана определяют неповторимое своеобразие книги: ее молодой задор, ее горячность, темпераментность, искренность — и ее широкое общественное звучание.

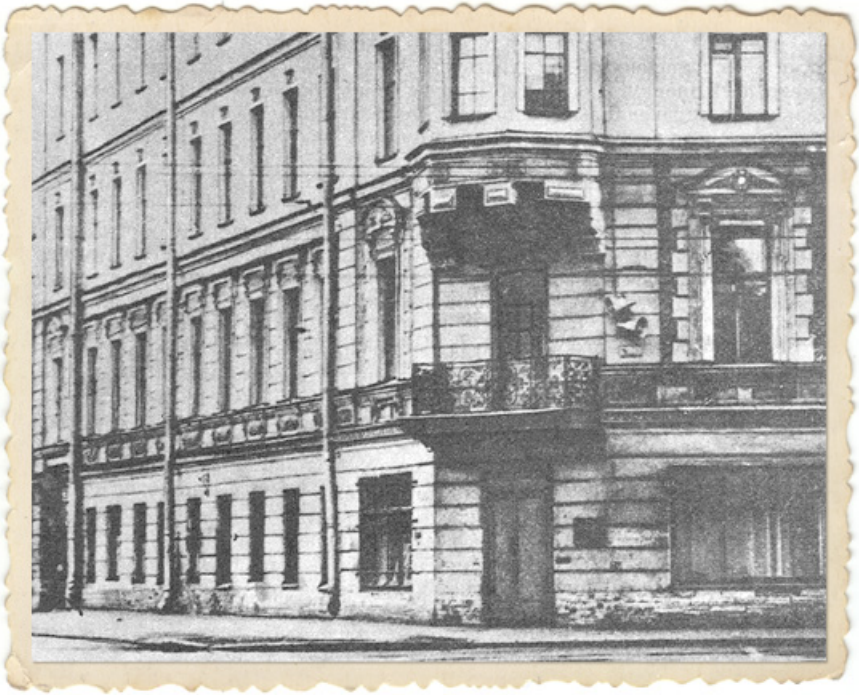
На примечательную особенность повести, объясняющую, быть может, почему книга держит читателя в плену до последней страницы, указал С. Маршак. Путь изменений в «Республике Шкид», пишет он, изображен куда менее заметно и последовательно, чем во многих книгах, авторы которых ставили себе целью показать, «как советская школа, детский дом или рабочая бригада «перековывает» опустившихся людей. Казалось

бы, неопытные литераторы, взявшиеся за биографическую повесть в восемнадцати-девятнадцатилетнем возрасте, легко могли свернуть на эту избитую дорожку, быстро размотать пружину сюжета и довести книгу до благополучного конца, минуя все жизненные противоречия, зигзаги и петли, но нет, движущая пружина повести оказалась у молодых авторов тугой и неподатливой. Они не соблазнились упрощениями, не сгладили углов, не обошли трудностей».

Нет, молодые авторы и не собирались «быстро размотать пружину сюжета». В «Республике Шкид» вообще нет сюжета в его привычном понимании. Поначалу даже кажется, что от перестановки глав в повести ничего не изменилось бы. Но так представляется только на первый взгляд. Повесть отнюдь не распадается на отдельные зарисовки: она внутренне крепко сцементирована главной идеей, главным сюжетом — историей распрямления беспризорника, рождения нового человека.

Композиция «Республики Шкид» как нельзя лучше отражает самый дух, самую фактуру жизни «беспризорной мальчишеской республики». Шкида действительно как будто жила лишь приливами и отливами. С первого взгляда трудно установить какие-нибудь закономерности в пестром потоке шкидских дней, потому что, когда Шкида бросалась в очередное увлечение, ее точно подхватывала и несла волна, потом происходил спад, временное затишье, и снова спустя некоторое время шкидский челн бросался навстречу новому урагану.

Да, Шкида знала радость взлетов и горечь поражений. Бывало и так, что сегодня в комнате Юнкома работали кружки, готовился очередной номер журнала, и в такие минуты шкидцы вздыхали от полноты счастья. А назавтра все могло сорваться, снова начинались содом и Гоморра и Шкида опять оказывалась на самом дне.



Школа имени Достоевского. II проспект Газа, 19.

Построение книги в целом и каждой ее главы в отдельности отражает этот своеобразный ритм: развитие действия идет как бы по кругу — начало, кульминация, спад, и вместе с тем возникает ясное представление о поступательном движении, о положительных изменениях и результатах. Книга строится так, что начинаешь видеть, как постепенно складывались традиции, правила и законы Шкиды, как шаг за шагом незаметно менялась она вся в целом и менялся облик каждого ее воспитанника в отдельности.

…С незаметного эпизода начинается история «ростовщика» Слаенова. Никто поначалу не обратил внимания на то, что этот неизвестно откуда взявшийся новичок одолжил голодному шкидцу свою пайку хлеба. Долгое время старшее, четвертое, отделение, где учатся самые сильные и интересные ребята, с некоторым пренебрежением относится ко все более расширяющимся его торговым махинациям среди малышни, но постепенно в страшную аферу втягивается вся Шкида, расколотая властью хлеба и денег на два лагеря: один — голодающий, стонущий под игом все возрастающего хлебного долга; другой — из самых авторитетных, старших купленных Слаеновым, — объедающийся, утопающий в роскоши. Темп повествования

нарастает. Авторы описывают жуткий разгул измывающегося над своими жертвами, все более утверждающегося в своем могуществе наглого и грязного паучка.

Но где-то наступает моральная психологическая кульминация. Развращенные подачками Слаенова, старшие все больше начинают чувствовать себя его соучастниками, понимать, что вовсе не младшие, а они, авторитетные старшие, оказались в положении настоящих рабов Слаенова, стали его холопами, обязанными защищать своего хозяина. Гордый и независимый Колька Цыган, которому Слаенов велит отнять у вконец изголодавшихся ребят очередную долговую пайку, вдруг явственно увидел себя в роли держиморды.

В хмурое, все более темнеющее лицо Цыгана впиваются десятки глаз. С трепетом и волнением ждет и читатель: ведь сейчас решится судьба не только должника, но в гораздо большей степени судьба и Цыгана, и всего старшего отделения. Победа над Слаеновым, лишив Цыгана и все четвертое отделение сытого и праздного существования, приносит им самое главное: ощущение человеческой полноценности и радостное сознание установившейся теперь справедливости для всех шкидцев.

Конечно, это не означает, что четвертое отделение уже никогда не совершит дурного поступка и кто-то из них или все они вместе не устроят очередной бузы, но какие-то новые, небывалые прежде чувства и понятия вошли в их сознание, какой-то серьезный моральный барьер взят.

Шкида ищет себя, ищет себе дела по плечу. Захватила в плен, на три месяца вогнала в горячку газетная лихорадка. «Кто поверит теперь, что в годы блокады, голодовки и бумажного кризиса, когда население Совроссии читало газеты только на стенах домов, в Шкидской маленькой республике с населением в шестьдесят человек выходило 60 (шестьдесят) периодических изданий — всех сортов, типов и направлений?»

Глава называется «О шестой державе». Здесь тоже все началось с небольшого конфликта: два редактора «толстого» журнала, Японец и Янкель, разошлись во взглядах на то, каким должен быть журнал — серьезным или развлекательным. Республика осталась на время без прессы, пока неожиданно Янкель не объявил о выходе своего собственного журнала «Комар». Тонкий «Комар» победил, хотя победа досталась нелегко: Янкель похудел, осунулся, потерял сон и аппетит.

Удача Янкеля повлекла за собой неожиданные последствия: возникли десятки журналов индивидуального направлению Эпидемия проникла во все уголки, школа точно вымерла. Ни шума, ни драки на уроках. Журнал, как в крупной азартной игре,

стал для каждого чуть ли не ставкой на жизнь. Но постепенно горячка проходит. Ребята устали, они с наслаждением возвращаются к давно заброшенным занятиям.

Глава «О шестой державе» посвящена серьезному увлечению Шкиды. Но авторы верны себе: и здесь они раскрываются как мастера юмора, шутки. Они не пожалеют красок, чтобы описать деятельность издателя журнала «Зори» Горбушки, известного своей фантастической неграмотностью. Посмеиваясь, пишут они об издержках увлечения: о конкуренции между издателями, об их отчаянной борьбе за каждого сотрудника, о том создавшемся в результате невероятном положении, когда все издают, все пишут — читать некому!

И, однако, главное сказано. Какой добрый след оставила эта лихорадка! Сколько затронула она хороших струн, заставив даже самых нерадивых трудиться не покладая рук. Какую вызвала интересную журнальную полемику! Какой принесла подлинный опыт журналистской работы талантливым шкидцам Японцу, Янкелю, Пантелееву.

Полны вдохновения и огня страницы книги, посвященные описанию шкидской «бузы», любимейшего занятия шкидцев, выдвинувших лозунг: «In busa veritas» — «Истина в бузе».

Горький назвал «Республику Шкид» книгой «преоригинальной, живой, веселой, жуткой». Да, многое в Шкиде было жутковатым: когда взбунтовавшаяся орда ребят переходила к активным действиям, Шкида действительно никак не напоминала институт благородных девиц.

Именно эта глава — об истории республики Улигании и столичного ее города Улиганштажта объясняет многое в шкидской бузе. Становится ясным: всякая буза ребят, какие бы формы она ни приобретала, являлась пусть подчас диким и необузданным, выражением извечной мальчишеской тяги к игре. У шкидцев не было детства, и они не участвовали в тех играх, которыми были захвачены их сверстники.

Независимое от халдеев (учителей) государство Улигания становится плацдармом для их буйной игры. Игра здесь все: и придуманная столица, и назначение на должности, и организованная система управления, и созданная наркомбузом (Японцем) конституция, и свои «Известия Улигании» (издатель Янкель), и свой герб и гимн, и, наконец, Народный Университет Бузы. В этой системе перепутались все системы управления, известные ребятам из книг и действительности: рядом с колониями и диктатором здесь был и овеет Народных Комиссаров.

Пожалуй, ни одна глава в книге не передавала с такой силой

бурные возможности шкидцев, размах их фантазии и озорства. Потому и апогей этой игры-бузы тоже особенный — государственный переворот. Воспитанникам школы становится очевидным: им уже тесно, уже невозможно находиться в рамках «дефективной» республики, они жадно мечтают о тех днях, когда они «станут равноправными гражданами другой — большой Республики Советов».

Вот почему они так настойчиво, с такой страстью просят Викниксора о занятиях политграмотой; вот почему, зная, что им нельзя вступить в комсомол, организуют сами свой Юнком со своей прессой, своим цека и так далее.

Рисуя шкидский коллектив, авторы создаю цельное и полное представление о том, насколько пестрой, разнообразной была по своему составу Шкида. Под одной крышей, в одной шкидской семье, рядом с сыном прачки Гришкой Белых и сыном извозчика Старолинским оказался потомок князей Джапаридзе, юный остзейский барон Вольф фон Оффенбах, обучавшийся до революции в кадетском корпусе. Но в Шкиде на сословные привилегии не обращают внимания: там полное равноправие.

Ценность в Шкиде имеет другое: талант, незаурядность, в чем бы они ни проявлялись. С нескрываемым восхищением говорят авторы о замечательных способностях Японца, делающего переводы из Гейне и Шамиссо, изучающего всерьез историю Древней Руси, но симпатией пользуется у них и Цыган, славный своей силой и темпераментом.

Из большого шкидского коллектива, из шестидесяти человек авторы выбирают нескольких — и следят за историей их жизни, за их делами. Портретная галерея воспитанников Шкиды — Японца, Купца, Слаенова, Цыгана, Дзе — одна из самых больших удач книги.

И здесь, следуя своему методу, авторы не изображают быстрой «перековки» ребят: нигде — ни на одной странице, ни в одной строке книги — нет рассуждений о том, лучше или хуже стал какой-нибудь шкидец. Живут яркой, своеобразной жизнью блестящий умница, желчный, острый на язык, неугомонный Японец, изысканный, щеголеватый Дзе, меланхоличный купец, духовные интересы которого пока еще дремлют в его могучем теле, буйный Цыган, темпераментный и деловитый Саша Пыльников. Весело и откровенно написаны портреты самих авторов — Гришки Черных (Янкеля) и Леньки Пантелеева.

Но как закономерный итог воспринимается день, когда Викниксор говорит двум уходящим ребятам: «Школа приняла вас воришками, маленькими бродягами, теперь вы выросли, и я чувствую, что время, проведенное в школе, для вас не пропало

даром. …Вы достаточно сильны и достаточно переделаны, чтобы вступить в жизнь».

Многие страницы повести посвящены истории взаимоотношений шпаргонцев с их воспитателями. В литературной критике не раз упрекали Белых и Пантелеева в неуважительном отношении к этому «племени»: целая галерея педагогических монстров проходит перед глазами читателей. Дерзкое, веселое, но в общем-то справедливое перо авторов создает незабываемые типы халдеев. В эти голодные годы, когда новых учителей было так мало, в Шкиду попадали люди, которых привлекал сюда просто паек. И конечно, им было трудно выдержать суровую проверку требовательных ребят.

С халдеями боролись способами, которые сейчас кажутся невероятными. Подробному описанию антихалдейской бузы, сделанному отнюдь не в покаянном тоне, отведено немало строк в книге.

Но авторам удается показать и выявить другую, гораздо более важную тенденцию: как в недрах этой вражды-войны складывались новые требования и отношения, совсем не похожие на те, что существовали в дореволюционной школе.

Вначале безоговорочным признанием шкидцев пользовался педагог, сумевший подладиться к ребятам и стать совершено «своим».

«— Вот это да! Это свой парень! — восхищался Янкель, дотягиваясь до плеча воспитателя и дружески хлопая его по плечу кончиками пальцев.

— Почаще бы ваши уроки.

— Полюбили мы вас, Пал Ваныч, — изливал свои чувства Японец. — Друг вы нам теперь. Можно сказать, прямо брат кровный». (В этом восхищении чувствуется изрядная доля иронии.) С отчаянной решимостью вступаются шкидцы за своего любимца, когда педагогический совет признает и его занятия, и его поведение негодными, и в знак протеста закатывают такую бузу, какой Шкида давно не видела.

Но со временем к слову «свой» у ребят стало примешиваться и нечто неуважительное, и никакие попытки воспитателя, игравшего в «своего», установить должный авторитет среди шпаргонцев ни к чему привести не смогли. «Да какой же вы воспитатель?» — смеются они в лицо Косецкому, принимавшему участие в их бузе. «Да где же это видано, чтобы воспитатель на стреме стоял, пока воспитанники воруют картошку с кухни!» И в той жестокой, неумолимой войне, которую они объявляют халдею, — правда на их стороне. Они выступают против его желания совместить несовместимые, с их точки зрения, вещи —

быть своим» и претендовать на воспитательские права.

Чем дальше, тем больше критерием здесь становятся деловые качества воспитателя и педагога, его знания, его человечность. Все это покоряло Шкиду, она нуждалась в знаниях и человечности больше всего. Казалось бы, какая радость ребятам от того, что учитель истории Алникпоп бывал строг и беспощаден? Но мы чувствуем: когда речь идет о серьезном, авторы умеют дать оценку делам и событиям с верных позиций. Строгий, взыскательный и справедливый Алникпоп; серьезная и мужественная, влюбленная в свое дело учительница немецкого языка Эланлюм; мощный, со свирепым взглядом, но на поверку добрый учитель физкультуры Косталмед; хрупкая, мягкая и тихая учительница анатомии, к которой у ребят возникает бережное и деликатное чувство; веселая, неугомонная Мирра Борисовна, создавшая шкидскую сцену, — вот те, которые из массы ничтожных, осмеянных, затравленных Шкидой «медленно, как золото в песке отсеивались». Это тот десяток, который «на своих плечах вынес на берег тяжелую шкидскую ладью, оснастил ее и отправил в дальнее плавание — в широкое житейское море».

В повести нет специальной главы, посвященной Викниксору. Многократно по ходу всей книги обращаясь к фигуре заведующего школой, Белых и Пантелеев почти никогда не делают попытки дать его психологическую характеристику, показать его в размышлениях, в поисках, у себя в кабинете, наедине с другими педагогами. Они и не стремятся проникнуть в неведомую им область его раздумий, мотивировок, — во все то, что составляет важнейшую и трудно улавливаемую сторону работы педагога. Он появляется всякий раз лишь тогда, когда го призывают внешние обстоятельства, в книге он почти всегда на глазах шкидцев — и только.

Меньше всего авторы стремились нарисовать бога. В их голосе нет никакого трепета, они пишут о Викниксоре точно так же, как писали бы о Сашкеце или Косталмеде. Вероятно, эта свобода, это не стесненное никакими обстоятельствами чувство помогло им увидеть и передать правду большого и сложного характера.

Он открывается с самых разных сторон: добрый и мягкий, грозный и карающий, реально, трезво и мудро видящий жизнь и врученных ему ребят — и чудак, буквально ребенок, которого ничего не стоит обвести вокруг пальца опытному, прожженному улигану. Авторы говорят только о фактах, но каждое слово, каждый жест, каждая деталь так красноречивы, что за конкретными поступками Викниксора угадывается и другая, скрытая от глаз воспитанников жизнь, явственно ощущаются

долгие часы раздумий и размышлений педагога.

Так, замечательно чувствуется этот второй план в эпизоде когда Викниксор держит речь перед укравшими табак ребятами, и в испытующем взгляде, каким он окидывает присмиревших воспитанников, и в торжественных и грозных словах и в том, как он невыносимо долго затягивает паузу перед окончательным решением и, только вымотав как следует ребят, объявляет о полном их прощении, вызвав бурю радости и раскаяния, — во всем этом виден, конечно, продуманный и взвешенный расчет. Впрочем, вряд ли один лишь расчет, даже самый тонкий, мог бы воздействовать на этих многоопытных бузовиков. Каждой клеточкой своего существа они чувствуют, что перед ними стоит не только рассерженный заведующий, имеющий право решить судьбу любого из них. Рядом с ними близкий, необходимый им человек: в их глазах Викниксор похож сейчас на отца. Отнюдь не сентиментальному Гришке хочется показать свое лицо заведующему, «показать, что он в слезах и что слезы эти настоящие, как настоящее раскаяние». Но и Гришке суждено увидеть, что «Викниксор — гроза шкидцев, Викниксор — строгий заведующий школой — тоже плакал, как и он, Янкель, шкидец».

Блестяще написана история рождения шкидской газеты. В руках у Викниксора маленькая газета «Бузовик», выпущенная в азарте борьбы с халдеем Косецким. Словно не замечая тревожного состояния «издателей», перебирающих мысленно все ругательства, какими был пересыпан текст, Викниксор делает им упрек весьма изящный, чисто литературного характера: «она пахнет бульварщиной». Умело и как бы невзначай, как бы только констатируя что-то уже давно вызывавшее интересы ребят, он говорит им о возможности создания сатирической газеты, так же между прочим подсказывая им и ее название: «Ну… ну… хотя бы «Зеркало». так из бузы, из грубой шалости родилась новая газета, ставшая впоследствии важнейгим печтным органом Шкиды.

Почувствовав, как далеко может завести игра в Улиганию, и подметив в этой игре опытным взглядом и наступающий кризис, и вспыхнувший одновременно интерес к общественной жизни, он первый поздравляет улиган с произошедшим переворотом и предлагает им объединиться с халдеями в один союз, в Союз Советских Республик.

Конечно, не все поиски Викниксора увенчивались успехом. Самым уязвимым его детищем оказалась «Летопись» — «зоркий глаз» всех добрых и плохих поступков, с помощью которой шкидский президент задумал осуществить лозунг революции «Кто был ничем, тот станет всем». Он хотел создать в Шкиде своего рода аристократию, но аристократию не по крови, не

наследственную, не паразитическую, а получившую свои привилегии по заслугам — честным трудом и примерным поведением. Но эту гуманную и увлекательную идею ему осуществить не удалось, ибо для шкидцев «Летопись» очень быстро стала просто штрафным журналом, строгих законов которого наиболее предприимчивые ловко избегали, извлекая еще для себя и выгоду. Утверждая необходимость самоуправления, Викниксор водит вместе с тем для неисправимых карцер, что дает повод Японцу охладить восторг ребят желчным замечанием: «Эх вы! Дураки! Растяпы! Вам дали парламент, но вы получили и каторгу!»

Да, это были издержки, но авторы сумели показать то главное, что удалось достичь Викниксору; он дал детям, изголодавшимся по человеческому теплу, ожесточившимся в борьбе за существование, самое нужное для них сейчас — дом. Дом, притягательный своими традициями, своими особенностями: ведь у них были свой герб и свой гимн!

Трудно сказать, из чего складывается привязанность к дому. Вот ребята устраивают честь выхода двадцать пятого номера газеты «Зеркало» банкет. Как не похож этот банкет на пиршества Слаенова, как все просто и скромно на этот раз, но каким теплым чувством согрет их праздник!

Двух провинившихся ребят — Янкеля и Японца — Викниксор собирается перевести из Шкиды. В последний раз они видят знакомое здание, и сердца их больно сжимаются. В последний раз они вдвоем в пустом классе, и становится так больно: столько прошло здесь часов их жизни, так знакома каждая мелось, и даже прежде оскорбительные надписи: «Янкель-дурак», «Япошка-картошка», вырезанные на партах, приобретают необычайную прелесть. Викниксор не случайно завел их сюда: он знал, что никакие выговоры и наказания не подействуют на ребят сильнее, чем это горькое последнее расставание с домом. И когда он деловито бросает им: «Парты запылились. Возьмите тряпки и вытрите хорошенько», ребята хватаются за тряпки, как за последнюю надежду. Они чувствуют, что нельзя им без Шкиды.

«Стала родной и близкой», «в родной шкидской спальне», дружная шкидская семья» — эти слова говорят о многом. Они говорят о традиции Шкиды поставившей, например, за правило никогда не травить новичков, о щедром гостеприимстве Шкиды, умевшей и любившей принять гостей, о ее интересе к литературе, к знаниям, к политике…

С волнением читаем мы эпилог книги и узнаем о том, как сложились в дальнейшем судьбы шкидцев, как из этих ребят вышли хорошие честные люди — рабочие, военные, писатели,

режиссеры, учителя, агрономы… Вот что писал об этом спустя два года после выхода повести Пантелеев в статье «Герои «Республики Шкид»: «Издревле повелось так, что герой совершает подвиг, влюбляется, безумствует, но на последней странице он — раб автора — смиренно и кротко исчезает ос сцены. Книга ему — как бы и колыбель, и могила.

Но вот мы дожили до времени, когда действительно одетые кровью и плотью герои сотнями и тысячами живут среди нам, скромно работают, создавая новую жизнь… Нередко это герой так называемой «документальной литературы», в рядах которой стоит и книга «Республика Шкид»!»

Бывшие питомцы Шкиды не только приобрели профессии: они стали участниками большой жизни страны. Сделаться хорошим вором, шнифером или квартирником — в этом видел свое счастье Цыган. Теперь у него совсем другая мечта — служить людям.

Шкида возвращает этим ребятам самое ценное — право чувствовать себя человеком. Закрывая эту веселую и лирическую книгу, понимаешь, как дорого авторам это их прошлое, дороги и незабываемая, трудная и сложная их юность, и тот дом, та республика Шкид, которая вывела их в люди.

* * *

Первым, самым горячим почитателем книги, самым увлеченным ее пропагандистом стал А. М. Горький. В течение двух лет он писал о повести многим своим корреспондентам.

«Не попадет ли в руки Вам, — обращался он к С. Н. Сергееву-Ценскому, — книга «Республика Шкид» — прочитайте!.. Авторы книги — воспитанники этой школы, бывшие воришки, одному — 18, другому — 19 лет. Но это — не вундеркинды, а удивительные ребята, сумевшие написать книгу, живую, веселую, жуткую».

Когда М. Пришвин написал Горькому, что хотел бы послать ему в числе четырех книг, которые ему понравились за последнее время больше всего, «Республику Шкид», Горький ответил ему:

«Республику Шкид» — читал, с авторами переписываюсь. Видели вы их? Какие славные, скромные и умненькие они, судя по письмам… Книга их меня обрадовала и потрясла жутко. А как они монументально изобразили зав. школой Викниксора?»

Дважды Горький употребляет это слово: «жуткая», «жутко». Сочетание «потрясла жутко» говорит о многом. Горький, как никто другой, угадал весь драматизм жизни Шкиды, мучительно трудную судьбу ее воспитанников и то, как непросто давалась

каждому из них и всей Шкиде в целом любая победа.

Иллюстрация Н. Тырсы к повести «Республика Шкид».

Значительны и интересны письма Горького авторам «Республики Шкид»: он делился с ними «тайнами ремесла», давал им ценные советы, объяснял им самим, что и почему им удалось, в чем вообще заключается задача художника. Он желал им скромности, просил не увлекаться похвалами в их адрес, напутствовал их: «…и чтоб дружба ваша надолго окрепла. Учитесь, это — чрезвычайно важно для вас…».

Самое большое одобрение Горького вызвал созданный в повести образ заведующего Шкидой Викниксора. Этот образ был для него особенно важен. Давно уже, многие годы пристально и с волнением он следил за деятельностью А. С. Макаренко. Лично они знакомы еще не были, и о деятельности Макаренко в колонии Горький знал лишь из подробных писем к нему Антона Семеновича и его колонистов. «Республика Шкид» словно

открыла ему глаза, и он с огромным воодушевлением пишет А. С. Макаренко:

«Научили меня почувствовать и понять, что такое Вы и как дьявольски трудна Ваша работа, — два бывших воришки, авторы интереснейшей книги «Республика Шкид»… Чтобы понять то, что мне от души хочется сказать Вам — Вам самому следует читать эту удивительную книгу.

Я же хочу сказать вам вот что: мне кажется, что Вы именно такой же большой человек, как Викниксор, если не больше него, именно такой же страстотерпец и подлинный друг детей, — примите мой почтительный поклон и мое удивление перед Вашей силой воли. Есть что-то особенно значительное в том, что почувствовать Вас, понять Вашу работу помогли мне такие же парни, как Ваши «воспитуемые», Ваши колонисты. Есть — не правда ли?»

Письмо это содержит одновременно высокую оценку мастерства молодых писателей и восхищенное, благодарное отношение Горького к самоотверженному труду людей, занятых наинужнейшим делом перевоспитания человека. Он помнит и думает об этих людях постоянно. Обращаясь снова к повести Белых и Пантелеева в очерке «По Союзу Советов», он оценивает образ шкидского президента еще более высокой мерой. «Новый тип педагога, — пишет он, — уже нашел свое отражение в литературе — такова монументальная и героическая фигура Викниксора в «Республике Шкид», намек на этот тип есть в книге Огнева «Дневник Кости Рябцева».

С самым теплым чувством говорит он о «Республике Шкид с колонистами Куряжа. Оказывается, он особенно ценит людей, которым судьба «с малых лет нащелкала по лбу и по затылку», потому что верит в них. Он радуется возможности рассказать колонистам о Белых и Пантелееве, в недавнем прошлом таких же, как они, ребятах. Сам прошедший суровую школу жизни, он находит в «Республике Шкид» отклик своему выстраданному опыту, своим убеждениям, своим надеждам. И потому так по-особенному проникновенно звучат его слова: «Для меня эта книга — праздник, она подтверждает мою веру в человека, самое удивительное, самое великое, что есть на земле нашей».

В течение десяти лет «Республика Шкид» переиздавалась ежегодно, выходила неоднократно за рубежом и приобрела мировую известность. Затем без малого четверть века повесть не существовала в книжном обращении. Несколько читателей ее не знало.

Появление книги в 1960 и 1961 годах сразу в двух издательствах можно считать вторым ее рождением.

Глава 4
Президент Республики Шкид Викниксор — и В. Н. Сорока-Росинский

Передайте ему привет и мое восхищение перед его талантом предугадывать жизнь, находить пути для нас

(Из письма Кольки Цыгана)

Новое прочтение повести и выход в 1966 году фильма «Республика Шкид» (режиссер Г. Полока, в роли Викниксора снимался С. Юрский) вызвали огромный читательский и зрительский интерес. На многочисленные вопросы о его бывших товарищах Л. Пантелеев ответил статьей «Где вы, герои «Республики Шкид»?»[6]

Особенное внимание представителей педагогической науки, литературоведов, журналистов привлек шкидский президент Викниксор. Многие десятилетия только под этим именем существовал он в сознании читателей книги, в отзывах литературной и педагогической критики.

Теперь, когда нам уже многое известно из жизни и работы Виктора Николаевича Сороки-Росинского, мы можем объяснить в какой-то мере причину бытовавших несправедливых и ошибочных суждений о его деятельности в школе имени Достоевского.

Еще в 1927 году, как только вышла «Республика Шкид», ее прочитала Н. К. Крупская, и книга (которую она высоко ценила) стала для нее прежде всего документальным материалом, на основании которого она могла судить об уровне постановки педагогического дела в школе имени Достоевского. Повесть ее встревожила, и в статье «Воскресная бурса» она с огорчением писала о существовании карцера в Шкиде и о многих других просчетах заведующего школой Викниксора.

Спустя десять лет, анализируя ряд книг о правонарушителях, А. С. Макаренко в статье «Детство и литература» тоже подошел к «Республике Шкид» не как к художественному произведению, а как к документальному. Он увидел в повести лишь добросовестно нарисованную «картину педагогической неудачи», и ему бросились в глаза лишь слабости в работе шкидского зава

Викниксора.

Подобного рода суждения о педагогической системе, педагогических методах заведующего школой имени Достоевского, сделанные лишь на основании «Республики Шкид», звучали и в более поздних критических отзывах, вплоть до конца 50-х годов. По существу, лишь один Горький сумел угадать и увидеть за художественным вымыслом правду большой жизни и замечательной деятельности.

В.Н. Сорока-Росинский, 1927.

Знал ли об этих отзывах В. Н. Сорока-Росинский, читал ли он «Республику Шкид»? Повесть он прочел сразу, и в статье «Школа имени Достоевского» с большим тактом и пониманием отделил то, что было на самом деле в школе, от того, что прозвучало художественном произведении. По его мнению, авторы «вовсе не претендовали на роль летописцев школы имени Достоевского» и смело соединили «факты с вымыслом и прозаическую действительность с поэтической фантазией»[7]. Книга ему понравилась.

Теперь мы знаем: он читал и знал все отзывы, но то ли был слишком занят текущей работой, то ли не хотел участвовать в журнальной полемике, готовился к ответу более серьезному и обстоятельному, — выступление его было единственным.

Среди фотографий, документов и других материалов в доме у сына педагога, Константина Викторовича Россинского, находилась вещь бесценная — написанная карандашом рукопись книги «Школа Достоевского». Рукопись эта обрывается на полуслове. Но и сто пятнадцать ее страниц, и те статьи и материалы, которые сейчас стали известны, воспоминания учеников и коллег — все это дает достаточное основание, чтобы определить значительный вклад В. Н. Сороки-Росинского — практика и теоретика — в развитие советской педагогической науки.

В книге «Школа Достоевского» он полно и глубоко рассказал о своем педагогическом методе, о своей системе и — шире — обо всей своей жизни педагога.

В. Н. Сорока-Росинский (1882–1960) родился в украинском городе Новгород-Северском, в семье офицера. В детстве его няньками, дядьками, братьями и друзьями были солдаты, любимым героем был Суворов.

Он мечтал о военном поприще, но по просьбе родителей поступил в Санкт-Петербургский университет, на историко-филологический факультет, собираясь после его окончания все равно пойти в военное училище. «Но военным я так и не стал, — пишет Виктор Николаевич, — по вполне понятной причине: я кончил университет в 1906 году». К. В. Россинский, с которым отец не раз говорил на эту тему, поясняет: отец не мог служить потому, что «эту армию заставили в 1905–1906 годах повернуть штыки против своего народа»[8].

И тогда привлекла к себе другая профессия, другая работа — педагогическая. Ведь и в военную службу «тянула не ее романтика, не ее мишура, а то, что там были… друзья-солдаты». Там, казалось, можно было «работать над формированием души человеческой». теперь понятно, почему, занимаясь на историко-филологическом факультете, он все время испытывал глубокий интерес к проблемам педагогики и психологии. После окончания университета он в течение года слушал курс психопатологии у академика Бехтерева. Еще до революции опубликовал ряд серьезных работ по вопросам школы, обучения и воспитания детей.

В 1920 году Сорока-Росинский стал заведующим школой имени Достоевского. Руководство этим интернатом для трудных детей было, вероятно, самым значительным делом его жизни. С чувством глубокой благодарности вспоминает он и о своих коллегах по школе. «Никогда еще, — пишет он, — не работали ленинградские учителя с таким подъемом, так вдохновенно и плодотворно, невзирая ни на что — ни на голод, ни на разруху,

ни на всеобщее обнищание».

Став во главе Шкиды, Сорока-Росинский не только принялся снова «штудировать сочинения по педагогике и методике», но и обратился к любимому герою своей юности Суворову, к его «Науке побеждать». Знаменитые правила: «глазомер», «быстрота и натиск», «тяжело в учении, легко в походе» — и главную заповедь полководца — *уважение к личности солдата* — хотелось положить в основу методики работы с трудными детьми.

Мечтая о том, чтобы его питомцы стали полноправными гражданами, В. Н. Сорока-Росинский пришел к убеждению о необходимости сформировать, прежде всего, настоящий коллектив, а для этого «найти и поставить перед… ребятами какую-нибудь единую цель, общую, для всех понятную, всеми желанную и требующую для своего осуществления *непрестанно ведущейся деятельности*» (разрядка моя. — Е.П.).

В здании на Старо-Петергофском проспекте не было никаких возможностей организовать трудовое воспитание ребят, и В. Н. Сорока-Росинский выдвинул другую общую цель и задачу: учиться! Учиться, чтобы добыть себе путевку в жизнь. Учиться, чтобы «выйти в люди»! Это стало девизом шкидцев, это вошло в их гимн. Двенадцать уроков в день! Это могло бы показаться неправдоподобным.

Э.А. Люшинарская,
преподавательница
немецкого языка в школе
имени Достоевского

Но предоставим слово Л. Пантелееву:

«А было нас пятнадцать или шестнадцать человек, босоногих огольцов, бывших беспризорников (речь идет здесь об одном, старшем отделении. — Е.П.). Народ мы были отчаянный, у редкого из нас за спиной не числились тюрьмы и судимости, но в школе из нас к тому времени успели сколотить неплохой коллектив, мы много и с удовольствием учились, много читали, писали стихи, выпускали рукописные газеты, журналы…»

И еще конкретнее:

«В Шкиде мы зимой и летом проводили за партами по десять и больше часов и не чувствовали при этом никакой усталости, ни малейшего переутомления. Наоборот, учеба была для нас высочайшей радостью».

Заглянем только в оглавление книги Сороки-Росинского, в названия разделов: «Всякое знание превращать в деяние», «Игра и

труд», «Игра и учеба», «учеба и перевоспитание»… Серьезная учеба, культивирование литературных игр, инсценировок и учетов, поощрение любви к книге, к изучению иностранных языков, выпуск своих газет и журналов — все это позволило С. Маршаку в его выступлении на I съезде писателей сопоставить эту школу полутюремного режима с Царскосельским пушкинским Лицеем.

Об одном учете хочется рассказать. Связан он был с поисками шефа, а мечтала Шкида заполучить в качестве шефа Торговый порт. Но как было пробиться к этому богатому шефу, который и так имел уже множество подшефных? Оставалось одно — пригласить портовых работников на шкидский учет.

И вот наконец выступает шкидец с докладом: «Морские порты и их значение»; портовики встрепенулись и уже не томились от скуки. Следующим объявляется доклад: «история Петроградского порта». Портовики вытаскивают блокноты и что-то заносят в них.

…Идут сцены-диалоги на немецком языке, математические турниры, доклад по естествознанию с демонстрацией коллекций.

И наконец вышел на сцену Еонин и объявил «Монолог Бориса Годунова». Сначала послышались смешки: уж очень тщедушен, очень мал был этот артист (один их самых талантливых ребят в Шкиде). но он читал так, что, как вспоминает Сорока-Росинский, «какой-то клубок подкатился к горлу и понадобилось напряжение воли, чтобы сдержаться». Но не только он — весь зал замер, все аплодируют и кричат, и не только шкидцы.

Учет закончен. Гости разъезжаются. Портовики проходят в кабинет заведующего. Они молчат, курят. Молчит и Сорока-Росинский.

Наконец один из них вынимает блокнот и говорит: «Ну, а теперь диктуйте, что вам надо».

С каким напряжением, с какой отдачей сил работал Виктор Николаевич, сколько души и надежд вкладывал он в своих питомцев! Приведем, к примеру, одну страницу (глава «Мечты и грезы»), описывающую редкую минуту отдыха шкидского президента.

Дело происходит в порту на Канонерском острове летом. Ребята купаются, загорают, ловят рыбу… Я тоже отдыхал, как солдат, который после долгого и трудного похода может, наконец, скинуть тяжелые сапоги расстегнуть ворот и распустить тугой ремень. Здесь я мог себе позволить на время такую роскошь. Я чувствовал, как закрученная до отказа пружина постоянного, и днем и ночью, волевого напряжения блаженно расслабляется, и не надо все время прислушиваться, как гудит наш неугомонный улей».

Но даже и на отдыхе, когда можно позволить себе помечтать, пофантазировать, в самых своих прекрасных грезах заведующий школой обращается все к одному и тому же: что еще придумать, что найти, как еще помочь ребятам уйти от своего прошлого, что сделать, чтобы они росли для жизни новой, чистой, трудовой, честной?

И снова размышления: как преодолеть испокон веку сложившееся противоречие между учащимися («мы») и педагогами («они»)? Убедить, что это не враги, а союзники, единомышленники?

Как вернуть ребятам — не с помощью «сентиментального поглаживания их головок». а всем кладом жизни школы, всеми ее порядками и действиями — веру в собственное достоинство?

Сколько трудностей! Сколько буквально героических усилий приходилось затрачивать, чтобы добывать пищу и одежду для ребят! Вот вместо настоящей обуви выдали школе вдруг негодные шапки, и, к великому удивлению Шкиды, заведующий бросается добывать к ним почему-то… лапти. Он знает зачем: соединив одно с другим, засунув шапки в лапти, он «создает» небывалую, но теплую обувь для ребят.

Эпизод этот был потом описан Г. Белых в рассказе «Лапти». С юмором рассказал он о том, как шокированные беспризорники объявили лаптям войну.

Шкидский люд покрыт позором.
По приказу Викниксора
стали лапти обувать.
…И, наверно, будем скоро
По приказу Викниксора
Даже лаптем щи хлебать…

пел Японец, отказавшись вместе с Пантелеевым «покрыть себя позором». Посмеиваясь, ведет автор повествование о трагикомическом поражении двух капризных шпаргонцев и о спокойной великодушной победе Викниксора.

Сколько в книге Сороки-Росинского страниц, раскрывающих педагога в его конкретных делах, в поисках — по крупицам — истины, в ценнейших находках и утверждениях! Какая это преданность делу, какая, вобравшая всю жизнь без остатка, преданность этим ребятам! И сколько благодарного уважения к своим соратникам, коллегам, делившим с ним все тяготы шкидской жизни.

В своей книге он снова обратился к «Республике Шкид» и сделал очень обоснованную попытку объяснить причину столь

резкого расхождения в оценках повести критикой литературной (которая высоко ставила произведение Г. Белых и Л. Пантелеева) и критикой педагогической. Меньше всего он считал здесь виновными молодых писателей, меньше всего попрекал он их тем, что «не так легко было прощупать» педагогические принципы школы «сквозь одеяния художественного вымысла, в которые они были окутаны авторами».

Художественное произведение, развивает он свою мысль, не фотография действительности, автор его может по-своему распоряжаться фактами, он волен оценить и осветить их по-своему. «Республика Шкид» — это литературное произведение, где «в художественной форме бывшие ученики школы рассказывают о своем обучении в ней, о своих шалостях и проказах и о своих впечатлениях от всего ими здесь пережитого».

Совсем иное дело — школа имени Достоевского. «Это не художественный вымысел, а реальные люди, жившие в ней в 1920–1925 годах. Это — педагогическая система, выражавшаяся в ряде действий учителей и воспитателей этой школы…» Другими глазами видел Сорока-Росинский многое, о чем по-своему написали в повести авторы «республики Шкид». Иначе смотрел он, к примеру, на «Летопись», придавая ей серьезное значение. Посмеялся он и над «карцером», который никем не воспринимался как наказание, да, по существу, этого карцера и вовсе не было.

Но он прекрасно понимал, что авторы повести ни в коей мере не могли, да и не стремились нарисовать объективную картину жизни школы. У повести были, подчеркивает Сорока-Росинский, свои художественные задачи». И снова, еще раз, сквозь призму десятилетий, тепло и с одобрением отозвался он о книге своих бывших воспитанников — Г. Белых и Л. Пантелеева.

После закрытия школы имени Достоевского педагогическая деятельность В. Н. Сороки-Росинского продолжалась с той же интенсивностью. Он стал преподавателем на специальном отделении Педагогического института имени Герцена, студенты которого подготавливались к работе с трудными детьми. Долгие годы он вел в школе всегда связанные с поиском новых убедительных методов уроки русского языка и литературы. В годы Великой Отечественной войны, эвакуированный в тяжелом состоянии из Ленинграда, он оказался сначала на Алтае, потом в Киргизии, работал в педагогическом училище, а затем в Учительском институте.

И снова с 1948 года — Ленинград, снова любимая работа в средней школе, снова десятки, сотни учеников; хотелось, применяя интереснейшие игровые методы, учить их по-

настоящему знать русский язык; открывать им глубину и необъятность великих произведений литературы; совершать с ними бесконечные прогулки по Ленинграду, с тем, чтобы они знали свой город, — прогулки, похожие на те, которые проделывал когда-то с милыми сердцу шкидцами.

В конце 50-х годов Виктор Николаевич вышел на пенсию, но все равно жил деятельной жизнью: писал и печатался, составлял методические пособия для школ. И постоянно кого-нибудь опекал — особенно из тех, кому трудно давалась учеба.

В. Н. Сорока-Росинский в последние годы жизни.

Последней его подшефной была девочка, которая долго болела и отстала от класса. Виктор Николаевич ежедневно занимался с нею. Когда его ученица получила первую пятерку, он решил отметить это событие. Он поехал за билетами в панорамное кино, и по дороге обратно с ним случилось несчастье…

25 и 26 ноября 1982 года в Ленинграде состоялась конференция, посвященная столетию со дня рождения В. Н. Сороки-Росинского. На ней присутствовали бывшие шкидцы

Мстислав Евгеньевич Вольфрам (Купец, Купа Купыч, диктатор Улигании) и Алексей Иванович Пантелеев (Ленька Пантелеев), ученики Виктора Николаевича разных поколений, коллеги, друзья, молодые учителя, студенты, учащиеся. С докладами и воспоминаниями выступали писатели, ученые, коллеги, ученики. Утром 26 ноября М. Е. Вольфрам провел участников конференции по зданию бывшей Шкиды (сейчас там филиал фабрики имени Володарского). Он волновался, показывая, где находились учебные комнаты, спальни, Белый зал, комнаты, в которых жил Виктор Николаевич. Он точно вернулся к тем временам, с благодарностью вспоминал Шкиду и ее бессменного президента. С проспекта Газа участники конференции отправились на Серафимовское кладбище и возложили цветы на могиле Сороки-Росинского.

Кадр из фильма «Республика Шкид» (режиссер Г. Полока, в роли Викниксора С. Юрский)

Но может быть, самым впечатляющим был момент, когда вечером 25-го, в первый день конференции, бывшие шкидцы, а за ними весь зал стоя исполнили шкидский гимн, текст которого на мотив студенческой песни «Гаудеамус» сочинили когда-то вместе с Виктором Николаевичем два его воспитанника — Янкель и Цыган.

Мы из разных школ пришли,
Чтобы здесь учиться.
Братья, дружною семьей
Будем же трудиться
. . . . .
Школа Достоевского,
Будь нам мать родная,
Научи, как надо жить
Для родного края.
Путь наш длинен и суров,
Много предстоит трудов,
Чтобы выйти в люди,
Чтобы выйти в люди.

Издана (с небольшими сокращениями) книга В. Н. Сороки-Росинского «Школа Достоевского», готовятся к публикации его статьи и другие работы, имя его по праву входит в историю советской педагогики.

Глава 5
Звездный час Петьки Валета

Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься.

Русская пословица

После «Республики Шкид» литературные пути соавторов разошлись, но дружба их продолжалась до конца жизни Белых.

Г. Белых потянули к себе воспоминания о прошлом — о себе и о своих сверстниках, детство которых совпало с временем революции и гражданской войны. Он написал увлекательную книгу «Дом веселых нищих» (книга была переиздана в 1965 году с предисловием Л. Пантелеева). Он собрал большой материал о революционном движении прядильщиков Петербурга и создал повесть «Холщовые передники».

В первых произведениях, написанных после «Республики Шкид», Пантелеев снова обратился к тому жизненному материалу, который ему был так хорошо знаком: к судьбе беспризорника. Много богатых впечатлений прибавили ему скитания харьковского периода, когда судьба снова сводила его с бездомными ребятами.

В рассказах «Карлушкин фокус», «Портрет», повести «Часы» писателя интересовала уже не масса ребят в целом, а один человек. Прошедший сам через суровые испытания, знающий по собственному опыту страшную изнанку судьбы беспризорника, Пантелеев подошел к более углубленному исследованию психологии, сознания отдельного мальчишки. В этих трех произведениях — в каждом по-своему — он более детально, чем в «Республике Шкид», показал, как высвобождался его герой из-под власти улицы, как менялось его представление о людях, о целях жизни, о собственном назначении на земле.

С.Я. Маршак и
А.И. Пантелеев, 1930.

Работа оказалась новой, непростой, как будто все начиналось сначала. В «Карлушкином фокусе» как бы шла подготовка к следующему рассказу «Портрет», оба вместе стали своеобразной школой, трамплином к уже большому и законченному повествованию — к «Часам», одному из лучших произведений советской литературы 20-х годов.

Так же, как и сам автор, герой рассказа «Карлушкин фокус» был поваренком, писал вывески, торговал газетами, стал жуликом и попал в Шкиду, где совершенно изменился. Но такое начало повествования кажется просто условным, оно, вероятно, понадобилось автору в его первом рассказе, чтобы набрать дыхание, найти то знакомое, привычное, от чего легче всего оттолкнуться. Художественный образ обретает самостоятельность. «Вырасту большой — непременно бандитом сделаюсь» — к этому направлены все помыслы, все силы души подростка. Уже сегодня, толкаясь по барахолкам, зорко выслеживал он, нельзя ли кого-нибудь обмануть, и не было для него ничего радостнее, как наблюдать за ловко обворованным простачком.

Фокус, составляющий сюжетное зерно рассказа, устраивает знаменитый вор Карлушка. Герой рассказа до последней минуты убежден, что шутка проделывается над третьим человеком, а сам он играет неслыханно лестную для него роль сообщника

знаменитого вора. Тем сильнее, тем драматичнее ощущается мальчиком развязка, когда неожиданно выясняется, что жертвой шутки оказался он сам. И тогда оказывается, что душа подростка еще не огрубела, не потеряла способности чувствовать боль, обиду, отличать хорошее от плохого. В подлинном свете видит он теперь лицо своего кумира, ощущает весь ужас своего одиночества, с тоской и тревогой оглядывается вокруг себя.

О герое «Портрета» Коське автор пишет более подробно. История того, как он оказался на улице («матку сыпняк угробил, а батьке ногу немец шашкой отрубил. Приехал он в деревню, пожил месяца полтора и помер»), кажется особенно страшной в силу своей как бы уже примелькавшейся обыденности.

Коська — вор поневоле, во всем виноваты обстоятельства, но кто знает, куда повернула бы его дорога, если бы не случайная встреча с хорошим человеком. Еще не втянувшийся в воровскую жизнь, Коська с готовностью откликается на возможность жить честно.

А.И. Пантелеев, 1930.

В «Портрете» уже проявилось искусство писателя одной-двумя фразами, несколькими деталями дать меткое

представление о человеке, создать точную бытовую картинку.

Вот одноглазый перекупщик Яшка Каин, к которому Коська идет сбывать краденое. Ваял Яшка одно, взял другое, а как дело дошло до книг, полистал их и не взял. «Не интересуюсь, — говорит. — Это книги политические, а я читаю только романы Александра Дюмы». И украденную фотографию не взял, как ни уговаривал его Коська. Не просто отказался, а с шуточкой: «И за копейку не возьму. Можешь ее дома на рояль поставить».

А вот Коська. Прилично одетый человек в его глазах чуть ли не буржуй! «Начальник станции вышел: стоит у фонаря, ногу выставил, белыми брюками фасон наводит». Характерно переданы два состояния неопытного воришки. Сначала — когда чужую корзинку украл. «Съежился Коська. От страха дышать перестал. Думает: сейчас хозяин корзинки с платформы соскочит, будет ему, Коське, баня с веником». И другой Коська, после продажи краденого: «сосчитал деньги и пошел барином по базару». Оба они — и Коська, и одноглазый перекупщик краденого — точно живые, а за ними так ясно ощущается окружающий их наглый, невежественный и поражающий своим убожеством мир мелких страхов и маленьких удовольствий.

И уже по-настоящему объемно, в движении, в полную силу изобразил писатель этот мир и путь беспризорника к новой жизни в «Часах».

Повесть «Часы» начинается легкой, короткой и энергичной фразой: «С Петькой Валетом случай вышел». Начало это обещает не только занимательную историю, но еще и какое-то продолжение, неожиданное, необычное, в результате которого вся жизнь Петьки круто повернется, заставит его принимать решения, действовать в необычных условиях, стоять перед выбором, определять свое будущее.

Случай же выходит такой попав за очередную мелкую кражу в милицию, Петька неожиданно получает в руки от пьяного соседа по камере (а по существу, ворует) золотые часы. Отправленный из милиции в приют, он закапывает во дворе свою драгоценность, надеясь при первой возможности, прихватив свое сокровище, бежать, но тут, к его невезению, двор заваливают дровами, и волей-неволей вынужден Петька Валет провести в приюте целый год, дожидаясь того времени, когда освободится двор и он сможет достать часы.

Иллюстрация А. Пахомова к повести «Часы».

Получается, что время как будто бы остановилось для зарытых в землю часов и, наоборот, закружилось со страшной быстротой для Петьки. Описывая всяческие перипетии в жизни героя, Пантелеев создает, как писала Т. Габбе, «настоящий спектакль, напряженный, полный драматизма и юмора».

О сюжете «Часов» есть очень характерное замечание у Маршака. «Ведь даже самый сжатый, лаконичный рассказ, — писал он, — может говорить о сложных чувствах и отношениях. Для этого нужно, чтобы за каждым самым простым поступком героя читатель чувствовал сложную — то есть жизненную — подоплеку, чтобы в каждой детали пейзажа угадывался весь пейзаж». В «Часах», развивает дальше свою мысль Маршак, автор как будто занят главным образом развитием своего сюжета, полного неожиданностей, крутых и резких поворотов. Но за приключениями и происшествиями ощущается лирическая глубина повествования, Пантелееву удалось нарисовать и «город того времени, и детдом, незаметно переделывающий Петьку, и множество людей с различными характерами и голосами, людей смешных, трогательных и всегда живых».

Экономно распоряжаясь материалом, Пантелеев отбирает для

рассказа о Петьке самое главное: он избегает каких-либо описаний, не дает внешней портретной характеристики героя. Для него важнее создать психологический портрет, показать героя в разных ситуациях и в его взаимоотношениях с людьми. Уже первые эпизоды вводят в своеобразный мир представлений беспризорника, и читатель сразу же убеждается в несоответствии между тем, что естественно для нормального порядка вещей, и Петькиным поведением.

Конечно, все начинается с базара: куда же еще идти промышлять голодному беспризорнику? И действует Петька привычно, деловито. «Попробовал Петька гирю украсть, но гирю украсть ему не позволили. Гирей стукнули Петьку слегка по затылку». Что ж, не впервой Петьке. Пошел он дальше. «Попробовал кадку украсть. И с кадкой попался». И вдруг долгожданная удача: толстая баба стоит на углу и торгует пампушками, румяными, пышными, «дым от пампушек идет». Задрожал прямо Петька, подошел поближе, «взял пампушку, понюхал и положил в карман».

Здесь все психологически замечательно точно: и то, что Петька, как он думает, ничего особенного не сделал — только взял пампушку; и то, как не суетясь действовал — сначала пампушку понюхал и лишь потом достойным жестом положил ее в свой видавший виды карман. Вдобавок «даже ничего обидного не сказал той бабе, а повернулся и тихо, спокойно пошел прочь». Казалось бы, как не понять его искреннего недоумения: чего это баба подняла такой шум?

Петька предстает в рассказе как характер определенный, в какой-то мере сложившийся. Он лишен романтических мечтаний, свойственных герою «Карлушкина фокуса», он не собирается стать знаменитым вором и налетчиком. Нет в нем и нерешительности Коськи, который идет на поводу обстоятельств.

Пантелеев подчеркивает в Петьке качества, выработанные непрестанной борьбой за жизнь. Не таков он, чтобы плакать, чтобы отчаиваться или чтобы бросить задуманное дело.

По своему характеру Петька напоминает несколько героев Зощенко, людей со ложившейся «средней психологией»: революционная ломка, новая жизнь, большие события не коснулись их, они существуют, как бы не замечая ничего вокруг себя. Герой рассказа М. Зощенко «Счастье» вспоминает, как он ждал, когда же наконец ему счастье привалит, и, пока ждал, остальное все в жизни проглядел. Не заметил, как женился, и «как на свадьбе с жениными родственниками подрался… и как жена после этого дите родила». Не заметил он, «как жена… и дите скончались». И вот привалила наконец долгожданная удача,

когда по счастливой случайности у него в руках оказалось тридцать рублей. «Эх, и жил же я тогда», — вспоминает он упоенно. «Два месяца жил… И покупки, кроме того, сделал: серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег».

Между мечтами зощенковского героя и Петькиными почти нет расхождения. Петька тоже словно ничего не замечает вокруг, будто вся жизнь сосредоточилась на базаре и достаточно маленькой удачи, хорошо обделанного дельца — и вроде день твой прошел достойно. Мерещатся деньжонки от продажи часов — и мечты соответственные. «куплю я, — думает, — первонаперво булку. Огромадную булку. Сала куплю. Буду булку салом заедать, а запивать буду какавом».

Пантелеев находит необычайно интересный ход, чтобы полностью высветить Петькин мир, и здесь история украденных часов приобретает особый смысл. Конечно, за желанием купить «огромадную булку» стоят голодные годы, вечная мысль о еде, но Петьке надо не просто набить желудок. Обладание золотыми часиками как бы открывает ему дорогу в шикарное, а стало быть, и счастливое существование, где рядом с булкой на переднее место выйдут заманчивые брюки клеш, френчик, штиблеты и чухонка — чтобы обязательно с барашком.

Поэтому он готов пойти на все ради драгоценного предмета. Дважды расплачивается он за часы неслыханной, небывало дорогой для беспризорника ценой — своей волей. Сбежав от милиционера, ощутив уже в полную меру опьяняющую радость свободы, Петька вдруг обнаруживает потерю часов, мысль о них гонит его назад, и поиски их приводят его обратно в руки блюстителя закона. И второй раз, предоставленный самому себе, он все же бредет в ненавистный ему приют: там в земле закопано его сокровище. А увидев, как двор приюта завалили дровами, качается от горя, захлебывается слезами. Это он-то, Петька, который давным-давно разучился плакать.

Мечта о часиках словно собирает на поверхность все дурное, что годами прививала ему улица: он становится наглым, лживым, бессовестным. В их золотом, ослепившем Петьку блеске особенно становится видно, до чего же бедна, скудна радостями его жизнь, как ограничены его представления о хорошем.

Попав в детдом, Петька считает себя здесь временным жильцом. Сама мысль о возможности жить в коллективе кажется ему нелепой. Ему нужно лишь продержаться в нем до весны, пока освободится от дров тот угол двора, где он закопал часы. Поначалу все свои отношения с детдомом он строит на этом простом желании. Все случившееся дальше представляет как бы

цепь случайностей.

Его выбрали старостой по хозяйственным делам, но ведь и субботник по разгрузке дров Петька организовал и работал на нем лучше всех, только ради себя стараясь, ради своих часов. И на должности старосты он все время думал лишь о своих интересах, именно поэтому так охотно дрова отпускал: «Вязанку?.. Пожалуйста. Две?.. Еще лучше». Дни пошли незаметно, и забыл паренек о скуке: ведь дел поднавалили столько, что передохнуть некогда стало. Даже на арифметику пришлось подналечь: иначе не справлялся с хозяйственными расчетами.

Так, без всякого со своей стороны желания, незаметно для себя втягивается Петька Валет в нехитрый водоворот детдомовского быта, а через него органически входит в мир настоящей жизни и настоящих представлений о ней.

И снова часы, как некий фатум, будут играть особенную роль в жизни мальчика. Лежащие глубоко в земле, они будут управлять Петькиными действиями, толкать его на те или иные поступки. Но теперь как будто стрелка их повернула обратно — и указала Петьке другой путь, помогая бывшему беспризорнику постепенно раскрываться в своих настоящих возможностях, в своей настоящей — человеческой — сути.

А.И. Пантелеев, 1933.

Сначала не испытанное никогда чувство стыда при встрече с хозяином часов заставляет его с тревогой оглянуться. «Сам удивился: что за черт? Откуда такое — стыд… Непонятно!» Но следующая сильная реакция Петьки — испуг оттого, что двор вот-вот освободится от дров, — уже вполне осознанное ощущение. Происходит невероятная вещь: Петька, все помыслы которого только и были устремлены к тому дню, когда можно будет добыть вои часы, делает все возможное, чтобы этот день оттянуть. Особенно начинает дрова экономить, трясется над каждым поленом.

Но вот, хочет он того или не хочет, часы выкопаны из земли, и, рассматривая их, Петька испытывает не столько радость, сколько тревогу и удивление: неужели с этим предметом были связаны все его мечты о счастье? Сначала его ошеломляет чисто внешняя деталь: взвешенные на руке часы вдруг начинают ему казаться куда более легкими, чем казались прежде. Ему даже страшно становится. Но, засунутые в карман, они неожиданно приносят ощущение тяжести — неприятной, беспокоящей. И про то же самое, ошеломившее его не так, казалось бы, давно,

богатство он думает «За что мне такая обуза? За что мне такое несчастье в кармане носить?»

по мысли Л. Толстого, сила художественного произведения во многом определяется точно выраженным отношением автора к изображаемым им лицам и жизни.

Замысел автора, его позиция, отношение к герою и событиям в «Часах» точны и определенны. Автор пристрастно описывает жизнь Петьки Валета, он следит за каждым его шагом, он все время как бы рядом с ним.

Поначалу в авторской интонации слышатся иронические нотки, он посмеивается над Петькой, вцепившимся в золотые часы. Смех этот имеет много оттенков, к нему примешивается огорчение и даже разочарование в беспризорнике, который свободу на вещь променял. В самом нелепом, смешном виде изображает он Петьку во время купания в ванне: сколько ради драгоценности пришлось вытерпеть бедняге, когда, чуть не ошпаренный, выплюнул он засунутые в рот часы, а вместо них запихал, едва не поломав зубы, медную пробку. Взахлеб, до слез посмеется читатель над незадачливым воришкой. Постепенно ирония уступает место сочувствию, одобрению.

Но тут надо сказать еще об одной важнейшей линии повести. Параллельно истории Петьки развивается история другого парня — Пятакова, который из того же детдома попадает в реформаторий — тюрьму, оттуда бежит и оказывается таким образом на свободе, то есть проходит возможный и прежде такой желанный для Петьки путь. Параллель с Пятаковым очень важна, она помогает сюжетному и композиционному завершению рассказа. «Часы» начинались с того, что за Петькой, укравшим пампушку, гонится толпа, он бежит, его настигают и отводят в милицию. Рассказ кончается сходным эпизодом. Снова Петька идет по базару и вдруг слышит свист и видит, как по базару бегут люди, жутко крича: «Лови его! Во-ор! Лови!» Увлеченный толпой, «побежал и Петька». Это маленькое «и» вмещает в себя очень многое, потому что впервые эту, до мельчайших ощущений знакомую картину Петька видит со стороны. Он видит безобразную дикую погоню, орущих людей и убегающего переулками человека, который оказывается Пятаковым. Точно та же совсем недавно бежал и он Петька, точно так же задыхался, дрожал и испытывал те же чувства затравленного загнанного зайца. Так Петьке удается как бы увидеть свою возможную судьбу, отраженную в судьбе Пятакова.

И в рассказе «Карлушкин фокус», и в «Портрете», и в «Часах» базару принадлежит особая роль. Базар оказывается тем местом, которое как магнит притягивает к себе беспризорника. Здесь

происходят главные события его жизни.

Впервые пантелеевский герой Петька Валет бежит с базара без оглядки, бежит вольной птицей. И хотя он выполняет всего лишь маленькое поручение — ему надо купить зеленую краску, — становится ясно: к бывшему беспризорнику пришло ощущение душевной свободы, он почувствовал наконец себя человеком.

Повестью «Часы» Пантелеев как бы завершает этот важнейший для него разговор о беспризорнике, о том, как новая действительность открывает для бывшего отщепенца путь к возрождению, путь к людям, к общественной жизни. Главную тенденцию лучших произведений писателя о беспризорниках почувствовали не только друзья — все те, кому был дорог разговор о человеке, — но и враги. На долю «Республики Шкид» и «Часов» выпала почетная участь: они были среди тех книг, которые нацисты жгли на улицах Берлина.

Глава 6
Мускулатура таланта

Дорогой мой, я так хочу, чтобы ты был как аттический воин — всегда прямой, несгибаемый, честный…

С. Маршак

…Речевая характеристика лиц — здесь Пантелеев сильнее всего…

К. Чуковский

Попробуем представить себе, каким был автор «Часов» в конце 20-х — начале 30-х годов: круг его интересов, книги, которые он читал, людей, с которыми свела его судьба.

Ответ на эти вопросы в какой-то степени мы можем получить, читая очерки и воспоминания Пантелеева: «Маршак в Ленинграде», «Рыжее пятно», «Шварц», «Гостиница Лондонская», «История одного автографа»; какие-то важные детали подробности, факты рассыпаны по страницам книги «Из старых записных книжек».

Сам о себе Пантелеев пишет как о человеке болезненно застенчивом, даже робком. Вот как выглядит его автопортрет конца 20-х годов:

«Тому, кто хоть немного знаком с моими автобиографическими книжками, хотя бы с «Республикой Шкид», это может показаться странным, ноя и в самом деле — и именно в эти, юношеские годы — был робок и застенчив, как маленькая девочка. Я стеснялся зайти в магазин, краснел, разговаривая с газетчиком или с трамвайной кондукторшей. В гостях я отказывался от чая, так как был уверен, что опрокину стакан, а в обществе, где присутствовал хотя бы один незнакомый мне человек, я никогда не мог произнести двух слов, более значительных и интересных, чем «да» или «нет».

Было, однако, в этом молодом человеке, недавнем еще беспризорнике и детдомовце, что-то такое настоящее, что вызывало уважение, что привлекало к нему внимание Маршака, Горького, Чуковского, Шварца. Вот каким вспоминается он литературному секретарю журналов «Еж» и «Чиж», начинающему тогда писателю И. Андроникову:

«Приход Пантелеева всегда вызывал шумные приветствия, на которые он отвечал короткими кивками, пробираясь куда-нибудь в сторонку. И долго, терпеливо, никого не торопя, да и не собираясь скоро покинуть многолюдную редакционную комнату, сиживал молча, стараясь не привлекать внимания. Но все равно влиял на окружающих в силу своей значительности — пришел талант, и даже молчавший, и тихий не безразличен. Потому что, даже и не участвуя в том, что делается с ним рядом, он досуха впитывает все и образует вокруг себя магнитное поле»[9].

Еще до первой встречи с автором «Часов» Горький писал о нем С. Н. Сергееву-Ценскому: «Мне кажется, что… Леонид Пантелеев — парень талантливый. Ему сейчас 20 лет, он очень скромен, серьезен, довольно хорошо знает русскую литературу, упорно учится…»

Когда Горький, приехав из Италии в Ленинград (было это в 1928 году), пригласил Пантелеева в Европейскую гостиницу, где обычно останавливался, он вызвал этим приглашением целую бурю в душе молодого писателя:

«Я не спал всю ночь. Я уже решил, что не пойду, я знал, что не выдержу этой встречи с великим писателем один на один, — и все-таки колебался, все-таки не мог победить в себе страстного и вместе с тем такого простого и естественного желания — увидеть Горького.

Перед рассветом я, помню, закурил, взял с полки потрепанный, перевязанный веревочкой томик «Знания» и стал читать «Городок Окуров». И, прочитав две или три страницы, я вдруг понял, что надо идти, что не идти нельзя, что если не пойду — не прощу себе этого до самого смертного часа».

И все же, ожидая в приемной гостиницы, когда его позовут к Горькому, он самым серьезным образом подумывал, не выпрыгнуть ли ему из окна.

Общение с Горьким дало очень много Пантелееву. По совету Алексея Максимовича и с его помощью он поступил учиться на вечерний рабфак Ленинградского технологического института. Учился там вместе со столярами, кожевниками, кондукторами, которые приходили на занятия после большого трудового дня. Особых знаний он там не приобрел, но с интересом следил за товарищами по учебе, получал новые жизненные впечатления. По поручению Горького и по командировке его журнала «Наши достижения» зимой 1929 года Л. Пантелеев ездил в Новгородскую область от Старой Руссы до Осташкова. Летом того же года — уже вместе с Маршаком — отправился на Каспий, на рыболовецкие промыслы. От Рыбинска до Астрахани — пароходом, в Астрахани выходили с рыбаками в море, ездили в калмыцкие села. Обратно

— пароходом до Казани, оттуда поездом до Москвы.

Горький убежденно верил в писательское призвание своего младшего товарища по цеху. Известному литературоведу В. Шкловскому довелось слышать однажды, как Горький говорил о молодом писателе «с уважением к тому, что уже сделал Пантелеев в литературе, и с победоносной верой, что он еще много сделает».

«Он очень много сделал для меня, — писал позднее Л. Пантелеев, — и у меня есть много поводов вспомнить о его добром сердце». С благодарностью говорил об учебе у Горького, хотя «учился у него не ремеслу», а самому главному: «по-горьковски работать, по-горьковски увлеченно, самоотверженно, честно и достойно относиться к… литературному делу».

Когда Пантелеев был у Горького первый раз, тот напутствовал молодого писателя такими словами: «Любите Маршака, учитесь у него!»

К этому времени Пантелеев и Маршак уже были друзьями. С глубоким чувством вспоминал Л. Пантелеев: «Я полюбил Маршака с первой встречи и учился у него всю жизнь».

Что же это была за учеба? Как складывались их отношения? Трудно давались молодому литератору их первые встречи — не только в силу его застенчивости, стеснительности, а скорее потому, что были эти встречи ему еще «не совсем по плечу». Кончив по нынешнему счету всего шесть-восемь классов средней школы, знал он, конечно, несравненно больше, чем нынешний семиклассник. Прочел и знал он многое и в русской, и в зарубежной литературе, и в истории живописи, философии и политической экономии, но все это читалось вперемешку, без всякой системы, и поэтому, признается он, «дырок, прорех в моем самообразовании было немало».

Конечно, Маршаку хотелось как можно скорее приобщить по-настоящему своего молодого друга к тому, что он знал и любил превыше всего: к лучшим произведениям русской и мировой поэзии, научить его понимать красоту и силу великих стихотворений. «И вот я попал к Маршаку. Он оглушил меня стихами. Оглушил буквально, потому что на первых порах мне было как-то даже физически трудно. Так чувствовал бы себя, вероятно, человек, не знавший до сих пор ничего, кроме мандолины или банджо, и которого вдруг посадили бы слушать Баха, да еще перед самым органом».

Но постепенно общение с Маршаком превращалось в школу — самую высокую, самую удивительную:

«Это был университет, даже во многих смыслах больше, чем университет. Маршак открыл мне Пушкина, Тютчева, Бунина,

Хлебникова, Маяковского, англичан, русскую песню и вообще народную поэзию… будто он снял со всего этого какой-то колпак, какой-то тесный футляр, и вот засверкало, зазвучало, задышало и заговорило то, что до тех пор было для меня лишь черными печатными строчками».

Маршак часто и пылко увлекался людьми, казавшимися ему незаурядными, он не жалел времени, чтобы помочь открыться дарованию, и многие литераторы обязаны ему, быть может, не только первой книгой, но и тем, что нашли себя, свое призвание.

Здесь отношения сложились иначе: к счастью, к бесконечной радости Пантелеева, это увлечение с годами не остыло, «а перешло в нечто большее — в дружбу».

Какими же должны были быть их отношения, как горячо должен был верить Маршак в своего молодого друга, если однажды, обняв его и посмотрев ему прямо в глаза, сказал: «Дорогой мой, я так хочу, чтобы ты был как аттический воин — всегда прямой, несгибаемый, честный…»

Прощаясь навсегда 4 июля 1964 года с С. Я. Маршаком, Пантелеев с огромной признательностью говорил: «На одной из своих последних книг Самуил Яковлевич написал, что знает и любит меня половину своей жизни. Эти добрые слова тем более милы и дороги мне, что половина маршаковской жизни — это ведь три четверти моей, то есть вся или почти вся сознательная жизнь».

В те годы в доме Маршака, в редакциях журналов «Еж» и «Чиж» Л. Пантелеев познакомился с замечательными людьми — А. Гайдаром, М. Зощенко, Д. Хармсом, Н. Заболоцким, Б. Левиным, многие стали его друзьями, единомышленниками, товарищами по работе в литературе.

Он много ездил: неоднократно в Москву, зимой 1930 года вместе с Г. Белых — в Винницу, «на гастроли» по приглашению читателей; побывал в Боровске, Тифлисе, Батуми, трижды в Одессе.

Это было время, когда молодой писатель стал серьезно думать о специфике литературной работы. Если посмотреть записные книжки Пантелеева конца 20-х — начала 30-х годов, можно заметить обостренный интерес к разговорной речи. Вот несколько примеров из этих записей: «Он был не в своем интеллекте», «Какие у тебя узкоколейные взгляды», «У нее не классическая, а, я бы сказал, бытовая красота», «Я извиняюсь, товарищи, заговорит с соседкой — это не является нарушением плохого тона?», «От вашей политики отдает букетом личных отношений»…

Записи отражают и глубокий интерес к языку писателей, к

детским речениям, интерес к происхождению слова, к его значению и звучанию.

Он учился тогда понимать главное, на что указывал И. А. Бунин: инструментовка, работа над каждым словом помогают достижению художественной цели не только в поэзии, но в равной степени и в прозе. Впоследствии Л. Пантелеев со всей убежденностью скажет: Не только стихи, но и прозу следует писать так, чтобы легко, радостно было читать ее вслух. То есть думать о музыкальности языка». И он учился этому у Бунина, Гоголя.

Около десяти лет назад в журнале «Сибирские огни» была напечатана статья Л. Пантелеева «Заметки о ремесле и мастерстве». Статья эта не только раскрывает тайны писательского мастерства, но и учит секретам мастерства читательского: она помогает читателю более глубоко, более объемно постигать книгу, ее стиль, ее музыку, красоту звучащего слова. Она учит искусству чтения, она проникнута заботой о талантливом читателе.

Опытный и большой мастер делится своими представлениями о специфике литературного творчества, особенно значительными представляются его экскурсы в собственное литературное прошлое. Он вспоминает о первой попытке инструментовать свою прозу — в первом варианте главы «Ленька Пантелеев» из «Республики Шкид». Глава начиналась так: «Страшной костлявой рукой сдавил молодую республику голод. Сидели без хлеба окопы на многих фронтах, заводы с застывшими топками домен, и тысячи тысяч людей, в хвостах прозябая, осьмушки тащили домой и ели с промерзлою воблой». Автор «Заметок о ремесле и мастерстве» предлагает читателю вслушаться в нагнетание звуков «ст» и «сд», почувствовать «явное их обыгрывание», любование ими: ст-ст-сд-дс-тз-зд-ст-ст-тс-тс-ст… Он видит здесь не только что-то «наивное, претенциозное и комическое», но и — начало, «маленький шажок вперед, не до конца осознанную попытку работать над словом, над языком».

Но уже в какой-то мере этапной для себя работой он считает повесть «Часы»: над ее началом он просидел несколько недель и потратил чуть ли не семьдесят листов писчей бумаги, прежде чем нашел верный тон, точный голос рассказчика. Он вспоминает, как удивил его поэт Н. А. Заболоцкий, когда сказал ему, что «Часы» написаны гекзаметром и в подтверждение несколько нараспев прочитал:

С Петькой Валетом случай вышел
Гулял Петька раз по базару

И разные мысли думал.
И было Петьке обидно и грустно:
Шамать хотелось и не было денег шамовки купить.

В словах Заболоцкого автору повести почудилась даже насмешка: «при чем тут гекзаметр?» Ему самому было ясно другое: «повесть написана сказом, от лица беспризорного паренька, в ней очень явственно звучат разговорные, житейские, очень простецкие интонации». Лишь потом он понял: «ухо поэта уловило то, чего не мог обнаружить даже слух автора», понял, почему, как бы и сам не замечая этого, выбрал для начала именно гекзаметр. «Несоответствие торжественной поступи гомеровского стиха» и истории с украденной пампушкой создавало замечательный комический эффект.

Но писатель был прав, когда говорил и о сказовой, разговорной интонации повести; одно здесь замечательно сочеталось с другим. Называя «Часы» вершиной раннего творчества Пантелеева, восхищаясь тем, как проявилась сила писателя в языке повествования. К. Чуковский увидел в этом рассказе совершенное владение жаргоном улицы 20-х годов. Жаргоном, стихийно созданным беспризорными «детьми и подростками, прошедшими через воровские притоны, барахолки, отделения милиции и т[ак] д[алее]». Отсюда такое ощущение достоверности эпохи, людей, события.

В «Часах», пишет Л. Пантелеев, «автор сдавал экзамен на художника… Работа шла по всем направлениям: и над языком, и над фабулой, и над композицией». Еще большее понимание и чувство того, что значит в художественном произведении слово, пришло к писателю в работе над следующей повестью — «Пакет» здесь проявилась та «художественная достоверность языка» писателя, которую К. Чуковский определил как «мускулатуру таланта».

В «Заметках о ремесле и мастерстве» Пантелеев рассказывает о том, как просиживая ночи напролет, он делал всего лишь десять-двенадцать строчек за «смену». Что же, спрашивает он, «мне не работалось, не писалось? Нет, очень даже писалось. Редко в своей жизни я работал с таким подъемом, с таким высоким упоением… как в этот раз». Просто эти десять-двенадцать строчек и были результатом, теми «граммами радия», которые добываются «из тысячи тонн словесной руды». Вместе с тем сюжетная основа повествования кажется ему довольно банальной, успех повести он приписывает только «слову, словам, их музыкальности, их звучности, их удачному подбору, сочетанию,

точному соответствию фонетики и семантики». Тут с писателем согласиться полностью не хочется: успех «Пакета» — и это проверено временем — заключен и в сюжете, и в образе главного героя.

В «Пакете» все повествование ведется от первого лица. Автор как бы передоверил самому буденовцу Пете Трофимову поведать о случившихся с ним многочисленных происшествиях.

Что это значит — вести рассказ не от автора, а от вымышленного героя? Как это делается? Каким путем достигается?

Пантелеев делится с читателем интереснейшими размышлениями: в «Пакете», как и во всяком другом сказовом, монологическом произведении, «автор — не только писатель, сочинитель, рассказчик, но еще в какой-то мере и актер». Он *играет* роль своего героя, и, как всякий актер — будь то Бабочкин в роли Чапаева или Качалов в роли Гамлета, — он тоже должен полностью здесь перевоплотиться в буденовца Петю Трофимова, сжиться с этой ролью до конца. Вот потому, оказывается, и работа над «Пакетом» шла так медленно: «каждое неточное, неверное, фальшивое слово резало ухо» и приходилось вычеркивать его, писать заново, зачеркивать новое, искать десятое, двадцатое…»

«Пакет» начинается с загадочных слов: «Нет, дорогие товарищи, героического момента в моей жизни я не припомню. Жизнь моя довольно обыкновенная, серая». Начало это дало повод ко всякого рода предположения: почему «нет»? С кем он спорит? Кому возражает?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо обратиться к истории написания «Пакета». Она тем более примечательна, что связана с рождением пионерского журнала «Костер».

В 1931 году в редакции детского отделения Госиздата возникла мысль об издании в Ленинграде детского альманаха. Один из будущих авторов М. Зощенко, предложил делать каждую книгу альманаха так, чтобы все рассказы в ней были на одну тему. «Например, — сказал он, — пусть первая книга будет о героях. Пусть каждый из нас расскажет о каком-нибудь замечательном поступке в жизни того, от чьего имени ведется рассказ».

Пантелееву было поручено придумать какое-нибудь интересное вступление для всего альманаха. Вступление придумалось такое: дело происходит в Крыму, в пионерском лагере. Поздно вечером ребята сидят у костра, говорят о «страшном». В это время из-за кустов появляется старичок, он заблудился и ищет дорогу. Его просят посидеть с ребятами, но уже поздно. Он приходит назавтра и приводит из санатория, где

отдыхает, еще несколько человек. Гостей ссаживают у костра и просят, чтобы каждый из них рассказал о каком-нибудь героическом случае. Один из гостей — Петр Васильевич Трофимов, бывший кавалерист, буденовец, участник гражданской войны. Он очень скромен, и свой рассказ он начинает словами: «Нет, дорогие товарищи, героического момента в моей жизни я не припомню».

Во время работы над рассказами писатели (а среди них были М. Зощенко, О. Берггольц, Н. Тихонов, Р. Васильева) про гостей-рассказчиков забыли. Но пионерский костер свою роль сыграл: он дал название альманаху. После «Костра первого» через год вышел «Костер второй». А через несколько лет стал выходить уже не альманах, а ежемесячный пионерский журнал «Костер, существующий и поныне.

В «Пакете» тоже нет никаких пионеров, однако первая фраза не оказалась случайной: она стала ключевой для всего облика главного героя. Рассказывая о том, как он ехал с поручением в штаб фронта и как дважды за один день ему пришлось прощаться с жизнью, Петр Трофимов представляет эту полную драматизма историю как «совсем небольшой пустяковый случай», вроде бы незначительный эпизод: как он однажды на фронте засыпался».

В этом несоответствии между тем, как сам герой оценивал все с ним происходящее, и подлинной значимостью его поступков и заключается во многом эффект повести, ее внутренний нерв, ее удача. Петр Трофимов себе цены не знает, но ему хорошо знает цену автор, и, хотя форма сказа как бы и лишает автора права вставить даже словечко, а позволяет лишь *проигрывать* роль героя, писатель оказывается здесь таким замечательным режиссером и актером, что создает подлинный спектакль: шумный, веселый. Посмеявшись вволю, его «зрители» уйдут, однако, с глубоким впечатлением от чего-то не только смешного, но и драматического, серьезного, глубокого; юмор, шутка, смех не только не помешают, но скорее помогут им оценить в настоящем свете мужество, преданность делу и многие другие высокие качества Пети Трофимова.

Противник напыщенной, сухой и холодной книги, где имеют место лишь «бесстрастно-протокольные записи героического события», Пантелеев придает огромное значение юмору — и в изображении жизни, и в характеристике положительного героя.

Некоторыми сюжетными и стилистическими особенностями «Пакет» напоминает сказку-анекдот об этаком красноармейском Иванушке-дурачке и о его встрече с врагами, которые здесь, как в каждой бытовой сказке, изображаются столь же глупыми, сколь и жестокими. И наружность у них на человеческую не похожа. Один

генерал — «высоченный такой, косоглазый медведь в кубанской папахе», другой — «какое-то… чучело в синих подштанниках. Такой… щупленький, поганенький старичок». непомерная глупость мамонтовцев проявляется на каждом шагу. Смешно смотреть на их испуг, когда им кажется, что Петя Трофимов, пока они его избивали шомполами, проглотил свой язык.

«Вот испугались! Вот им от генерала попадет. Ведь им генерал что сказал? Чтобы они меня живого и здорового привели к нему на квартиру. А они?..

Офицер — так тот прямо за голову хватается.

— Ой! — говорит. — ай! Немыслимо!.. Чего он такое сделал? Ведь он язык съел! Понимаете? Язык уничтожил!..

<…>

И ко мне на колесиках подъезжает.

— Братец, — говорит, — что с тобой? А?.. <…> Может быть, — говорит, — тебе лежать жестко?..»

У автора «Пакета» абсолютный слух на слово, на интонацию, на ритм фразы. Фраза органически слита с жестом, с действием, с поступком героя. Вот Петя Трофимов мчится на коне. Как уместна здесь сказовая стихия, с ее гиперболой, с особым ритмом.

«Несется мой Негр, как леший.

Несемся мы по шоссе под липками, липки шумят, в ушах жужжит, что ни минута — верста, а Негр мой только смеется, фырчит, головой трясет… Лихо!

Вот мост деревянный простукали…

Вот в погорелую деревню свернули…

Вот лесом скачем…

Темно. Сыро».

Но образ Пети Трофимова уходит корнями не только в сказочную народную традицию. Такой характер неунывающего служивого, характера, без которого, вероятно, невозможно было бы перенести тяготы военной жизни, известен русской литературе: достаточно вспомнить солдата Чикина у Л. Толстого («Рубка леса»); чем-то Петя Трофимов напоминает Швандю из «Любови Яровой» К. Тренева. Традиция пошла и дальше: в литературной критике не раз отмечали сходство между Петром Трофимовым и Василием Теркиным. А герой повести В. Курочкина «На войне как на войне» (1965) младший лейтенант Саня Малешкин словно создан для того, чтобы попадать в смешное положение. В изображении солдата Чикина, красноармейцев Шванди и Петра Трофимова, воинов Советской Армии Василия Теркина или Сани Малешкина героическое соседствует со смешным, а лучше сказать — слито с ним. Смешное не только не снижает высоких качеств названных

персонажей, но вызывает к ним еще большую симпатию, большее восхищение.

Вместе с тем смешное неоднородно по своей художественной природе. Если, скажем, Швандя вызывал смех своими остроумными проделками, солдат Чикин любил сам посмеяться и своими выдумками распотешить других, а Василий Теркин был мастером на острое словцо и на шутку, то смешное у Пети Трофимова заключено в самой лексике, в самом способе выражать свои мысли и чувства. В «Пакете» фразеология, лексика героя становятся той первоосновой, на которой строится характер, облик героя. В детстве Петя Трофимов был пастухом, сторожил заграничных овечек у помещика. Потом работал в городе плотницкую работу. Потом его взяли во флот. Потом он стал участником революции. И уже много позже его учили читать, писать и «арифметику делать».

А пока что Петя Трофимов неграмотный, но за свои двадцать четыре года он успел нахвататься разных слов и понятий, в результате чего образовалась, как писал Чуковский, «речевая нескладица», отражающая «ранний этап речевого развития масс».

Наделенный от природы живым умом, он говорит чаще всего сочным грубоватым языком, где перепутались деревенская и городская лексика. Но, наслушавшись каких-то новых слов, он считает нужным ввернуть к месту и не к месту какое-нибудь замысловатое, даже не совсем ему ясное словечко. Так, оскорбленный угрозой белого офицера, он старается ответить ему как можно обиднее и эффектнее: «Ты! — говорю. — Гоголь-моголь!» И даже когда ему хочется сказать о своих трудностях совершенно серьезно, то все равно одно словцо или само построение фразы делают его речь предельно комической. Вот неожиданная опасная встреча: «Я испугался немножко. Все-таки ведь не в древне гуляю на масленице. На фронте ведь». Нужно уничтожить, съесть пакет Но как это сделать? «Задумался, знаете. Непривычное все-таки дело. Все-таки ведь бумага — не ситник. И не какой-нибудь блеманже». Ведут его на расстрел.

«…Погода была замечательная. <…> А тут — изволь иди на такой веселенький проминат!» Знакомя командарма Буденного со своим другом Зыковым, Трофимов старается придать своим словам самую элегантную форму. «Товарищ Буденный! — говорит он. Позвольте вам познакомить моего друга…»

Вслушиваясь в рассуждения Пети Трофимова, читатель будет смеяться и одновременно ощущать, каков в действительности этот отважный и преданный делу боец. Ведут Трофимова на расстрел, а у него утешение, что пакет, в котором ценные донесения, не достанется Мамонтову. «Ну что ж! — рассуждает

он. — Это счастье. С пакетом засыпаться было б хуже. А так и умирать легче… Все-таки совесть легче…» Но когда пакет находится и буденовец не успевает его съесть, у него опять одна забота: «Как бы мне, — думаю, — мертвому, после смерти, рот не разинуть! Раскрою рот, а пакет и вывалится. Вот будет номер!..»

Естественность и простота, составляющие главную суть характера героя, отнюдь не сводятся к какой бы то ни было прямолинейности: Петр Трофимов у Пантелеева прежде всего человек. Он может испугаться, он может струсить, он может загрустить. Какая лирическая интонация звучит в его голосе, какие совсем новые слова появляются у него, когда перед ним отрывается мир тополей, садов, просторов. «Ах, какая природа!.. <…> А воздух такой чудный! Яблоком пахнет. А небо такое синее — даже синее Азовского моря! Ну, прямо всю жизнь готов любоваться!» Беспредельная грусть слышится в его словах, когда ему кажется, что наступают его последние минуты: «Никогда мне, товарищи, не забыть, как я тогда шел, что думал и что передумал». Выдержав удары шомполами, он тут же может заплакать слезами обиды, увидев (ему показалось, как его собственный язык на полу лежит, и уже совсем настоящими горькими слезами он плачет, когда рядом с ним погибает спасший ему жизнь бывший мамонтовец Зыков. И опять новые слова, выдающие таящийся глубоко в душе запас нежности, человечности:

«Я говорю:

— Зыков!.. Да брось… не журысь!.. все ладно будет».

Первоначальное представление о своеобразном красноармейском Иванушке-дурачке не ушло, но дополнилось множеством других черт. В итоге читатель встречается с характером подлинно человечным, веселым и героическим.

К Пете Трофимову Пантелеев вернулся еще раз, когда в 1934–35 годах готовил сценарий для «Одесской фабрики дитячих та юнацьких фільмів». Герой этого сценария, директор мебельной фабрики Трофимов, бывший буденовец, поехал разыскивать сына своего погибшего на фронте друга Зыкова. В поезде его ограбили, и долгое время он путешествует босиком и с портфелем. Каким-то образом он попадает к беспризорником, а те помогают ему напасть на след Зыкова-младшего, тоже бывшего когда-то беспризорным. Но пока шли поиски Зыкова-младшего, его судьба уже переменилась, он успел вырасти, кончить военное училище и стать красным кавалеристом. В сценарии было много комического, эксцентрики. И Многое из незабываемых впечатлений писателя, полученных во время его южных скитаний в конце 1924 года, когда уже после Шкиды судьба снова свела его

с беспризорным миром. О том, как создавался сценарий, писатель рассказал в очерке «Гостиница Лондонская».

«Пакет» был инсценирован и долгие годы шел на сцене московского ТЮЗа. Перед войной снимался фильм «Пакет», роль Буденного сыграл сам маршал. Много лет спустя по «Пакету» на «Мосфильме» был снят телевизионный фильм, он получил первую премию «Злата Прага» на международном кинофестивале телевизионных фильмов в Чехословакии.

Глава 7
«Завтра — оно завтра будет»

У меня растут года…

В. Маяковский. «Кем быть»

Когда Пантелеев был еще молодым человеком, у его двоюродной сестры Иры появился ребенок. Девочка. И он сразу без памяти полюбил свою маленькую двоюродную племянницу. Казалось, она восполнила то, чего ему так не хватало: детского крика, детского смеха, даже детского плача, — потому что он всегда очень любил детей.

Для новорожденной племянницы Алексей Иванович снимал дачу, вощился, играл с нею. Единственное, что ему не нравилось, — это то, что девочку назвали так же, как маму, Ириной. Как раз в это время М. Зощенко прочел ему свой новый рассказ. Там молодая мать, укачивая новорожденного ребенка, говорила: «Ах ты, мой ангел! Ах ты, мой маленький людоед!..» Пантелееву это так понравилось, что он стал называть свою племянницу Людоедом и, хотя не все отнеслись к этому имени одобрительно, постепенно настолько привыкли, что в доме стали говорить:

«— Людоед сегодня жалуется на животик. <…>

— Людоеду купили куклу. <…>

— Людоед, пора спать!

И людоед, нисколько не удивляясь и не обижаясь, шел спать».

В очерке «Маршак и Людоед» Л. Пантелеев приводит веселые экспромты Маршака на подаренных девочке книжках. Вот один из них:

На Грибоедовском канале
Жила особа юных лет,
Ее родные называли
Ужасной кличкой «Людоед»
Хотел я к ней поехать в гости,
Боюсь я только одного —
Что от меня оставят кости,
Очки и — больше ничего.

Алексей Иванович уделял девочке много внимания, учил ее читать. О том, как шла учеба, есть у него интересная запись:

«Иринке пять лет. Учимся с нею читать. Никак не может запомнить букву «я».

— Какая это буква?

— Буква «ты».

Нарисовал яблоко. И написал: «яблоко».

Читает:

— Тыблоко».

Эти несколько строк выросли потом в рассказ «Буква «ты». Читая его, мы можем увидеть, как преобразуется жизненный материал в руках художника, как из факта, случая, эпизода вырастает художественное произведение, в котором появляются характеры, звучат диалоги, завязывается сюжетная интрига. Вот, к примеру, умучившийся взрослый предлагает Иринушке эту букву, которую она никак не может верно прочитать, сказать «как будто про себя: я. Понимаешь? Про себя. Как ты про себя говоришь». Кажется, что еще может быть понятней? Но у Иринушки своя логика, и происходит невероятная вещь — она шепотом, про себя говорит: «ты». Но разве не могла она понять просьбу учителя по-своему: про себя — значит тихо-тихо? И она тихо-тихо про себя, говорит: «ты».

Рассказ «Буква «ты» заставляет задуматься о многом: и о том, как сложен и многогранен язык, сколько в нем скрыто возможностей; и о том, каким неожиданным для взрослого образом, с какой непосредственностью воспринимается он ребенком; и еще о том, как непросто быть учителем.

В конце 20-х годов Пантелеев вел в журнале «Еж» отдел «Цирк — театр — кино». В небольших заметках он увлеченно рассказывал детям о знаменитом укротителе, о виртуозной цирковой артистке, выдающемся жонглере, создавал для юных читателей портреты знаменитых артистов кино: Чарли Чаплина, Бестера Китона, Дугласа Фербенкса, Мэри Пикфорд, придумывал киноребусы, кинозагадки.

С середины 30-х годов Пантелеев особенно потянулся к литературе для самых маленьких. В журналах «Чиж» и «Костер» стали все чаще появляться самые разные его произведения: и сказка, и веселый раешник, и назидательная новелла, и небольшая притча, и рассказ. Пантелеев убежден: взрослого не может не интересовать то, что волнует и интересует ребенка. Отсюда его утверждение: «Каждый писатель должен писать для детей, обращаясь ко всему непосредственному, неиспорченному в человеке…»

В его творчестве складывается своеобразный идеал человека, близкого по душевному складу к детям. В свое время этот идеал выразил Белинский. «Есть люди, которые любят детское общество

и умеют занять его и рассказом, и разговором, и даже игрою, приняв в ней участие: дети, с своей стороны, встречают этих людей с шумной радостью, слушают их со вниманием и смотрят на них с откровенной доверчивостью, как на своих друзей. Про всякого из таких у нас, на Руси, говорят: «Это детский праздник».

В 1941 году, перед войной, Пантелеев работал над сценарием «Детский праздник» (в середине 60-х годов по этому сценарию был снят фильм «Они встретились в пути»), Сценарий посвящен студентам педагогического института, будущим воспитателям. Один из них, Макар Семенов, обладает удивительной способностью привлекать к себе ребят. Для Макара общение с детьми — это не просто выполнение служебных обязанностей, а потребность, необходимость, жизнь. И потому именно к Макару тянется трудный мальчишка, найдя у него то, что ему сейчас нужнее всего: человеческое тепло и мужскую дружбу.

Насколько пристально, пристрастно, увлеченно следил писатель за жизнью детей, можно судить по страницам книги «Из старых записных книжек»: они буквально пестрят детскими речениями, подслушанными разговорами, в них запечатлены занимательные или поучительные эпизоды и происшествия из детской жизни; в записях можно найти и законченные сценки, и зарисовки к будущим произведениям. Невозможно не привести некоторые примеры:

«Дядя, правда, что у вас в Ленинграде только два раза в пятидневку бывает солнце?»

«Лисий Нос. Подслушанные «экикики».

Из трубы шел густой дым. Какой-то мальчик сказал:

— Дом горит, никто не видит.

И вот — человек шесть пятилетних ребятишек добрых полчаса с наслаждением орут у меня под окном:

Дом горит — никто не видит!
Дом горит — никто не видит!

Там же. Из двух противоположных окон, через улицу, дуэт двух мальчишек:

Голуби пугаются,
Дворники ругаются…

Тоже минут на десять. И тоже с наслаждением, с каким поет зяблик или кричит по утрам петух».

«Шестилетняя девочка, дочь соседки:

— Куда же это папа ушел? Ах чтоб он помер!..»

«Таня Белых (три-четыре года):

— Мама, задуши электричество».

Автор не просто сторонний наблюдатель, записывающий ради удовольствия смешные, наивные или очень меткие детские высказывания, — он активный участник разговоров, он задает вопросы, вовлекает детей и сам по-настоящему охотно играет в затеянные им же игры; он размышляет о детских поступках и характерах. Все это ему бесконечно интересно и важно. Все это помогает еще глубже постичь разнообразную жизнь детства.

Сколько открытий, сколько нового! Какой большой, многокрасочный мир зовет двух очень «непослушных девочек», о которых писатель написал целую книжку — «Рассказы о Белочке и Тамарочке». Их непослушание, их жажда жить активно и озорно оборачиваются подчас и неприятностями пока девочки, нарушив запрет мамы, купались в море, пришел вор и украл всю их одежду: «И платьица украл, и штанишки украл, и рубашки и сандалики, и даже испанские шапочки с кисточками украл». И шалость в лесу кончилась чуть ли не бедой: пока они прятались от мамы, она в самом деле ушла от них далеко и девочки натерпелись страху.

Но как в этих рассказах все по-детски сказочно! Таинственный вор вызывает не только огорчение. Подходя к дому голышом, Белочка в упоении кричит: «Мамочка, знаешь, — нас обокрали!!!» И блюститель порядка, милиционер, который задает грозные вопросы: «Эт-то что такое? А? Кто вам позволил, гражданки, голышом по улицам бегать?» — на самом деле симпатичный и добродушный; и страшный волк на поверку оказался теленочком, указавшим им путь из леса; и насмешливый старик направил их домой, на зелененькую дачу. Особенными кажутся здесь и встреча с морем, и солнце, и гроза, и веселый шум дождя.

«Рассказы о Белочке и Тамарочке» написаны так, словно рассчитаны не столько на читателя, сколько на слушателя.

Возьмем, к примеру, начало:

«У одной мамы было две девочки.

Одна девочка была маленькая, а другая побольше. Маленькая была беленькая, а побольше — черненькая. Беленькую звали Белочка, а черненькую — Тамарочка».

Каждая фраза здесь наполнена дыханием, писатель как будто специально подбирал слова с открытыми слогами, чтобы слово пелось, легко произносилось, хорошо звучало на слух.

Рассказы эти безупречно ритмически выстроены. Вот мама, отправляя девочек гулять на море, дает им напутствие: «По воде

босичком походить — это можете. || В песочек поиграть — это пожалуйста. || А купаться — ни-ни. || Девочки ей обещали, что купаться не будут».

В «Рассказах о Белочке и Тамарочке» Пантелеев создал два совершенно разных характера девочек. Для писателя несомненно: ребенок с самых малых лет — личность, характер. Писатель не скрывает некоторого недовольства властным, даже эгоистическим характером старшей, Тамарочки, явную его симпатию вызывает более робкая, более зависимая, но зато и более честная и прямая Белочка.

Пантелеев никогда не изолировал детский мир от взрослого, он предъявлял серьезные требования к детям. У девочек молодая умелая мама, с такой мамой весело и хорошо. Но мама отнюдь не безразлична к тому, как живут и как ведут себя ее девочки. Мама осудит не шалость, а трусость, она учит их отделять хорошее от плохого. «Вещественные» последствия их шалостей волнуют ее мало. Не очень убиваясь об испорченной дочками скатерти, мама далеко не безразлична к нравственной стороне дела. «сумел набедокурить, — говорит она, — сумей и ответить за свои грехи. Сделала ошибку — не убегая, пождав хвост, а исправь ее».

Белочка и Тамарочка на протяжении рассказов взрослеют, растут. Рассказ «Большая стирка» начинается с шалости, с невсамделишной работы, а кончается тем, что обе девочки идут с мамой работать — и пол мыть, и стирать, и полоскать, и сушить белье — и все по-настоящему. И потому таким вкусным покажется им обед.

Почти как афоризм звучат последние фразы в рассказе «На море», когда, вернув девочкам всю их одежду, милиционер обещает отдать испанские шапочки лишь завтра, если сестры этого заслужат. «А что завтра было — еще неизвестно. Ведь завтра-то — его еще не было. Завтра — оно завтра будет». Слова эти воспринимаются как шутка, но одновременно они говорят о невозможности заглянуть в завтрашний день, но и обещают этот день, к которому надо быть всегда готовым.

Пантелеев очень тонко понимает, как наивен ребенок, насколько мал его опыт, как нуждается он в старшем друге, добром учителе. Учительская миссия в самом высоком смысле слова тала присуща всем его произведениям, обращенным к растущему человеку. В каких-то даже случаях, как писал К. Чуковский, Пантелеев «не отказывается… от самых откровенных поучений и проповедей».

Обычно к таким словам, как «поучения», «дидактика», существует отношение достаточно настороженное: кому охота слушать наставления и поучения? «Но Пантелеев, — продолжает

К. Чуковский, — такой сильный художник, что дидактика ему не помеха. Напротив». К. Чуковский поясняет свою мысль. Поучающие фразы, которые у другого писателя звучали бы непростительной фальшью, благодаря яркой словесной живописи и увлекательному сюжетному построению у Пантелеева воспринимаются «как законные явления стиля». Его моральная проповедь проникает в детское сердце, потому что она исходит от настоящего художника.

…Две лягушки угодили в горшок со сметаной. Одна — трусиха и лентяйка решила, что все равно ей оттуда не выбраться, перестала барахтаться и утонула. Вторая — храбрая и упорная — подумала иначе: «Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдет. А лучше я еще побарахтаюсь, еще поплаваю. Кто его знает, может быть у меня что-нибудь и выйдет». И она в конце концов спаслась. Это — сказка Пантелеева «две лягушки». Содержание ее наипростейшее, но она заключает в себе очень важную мысль, даже некую мораль. По существу, здесь идет разговор о различных формах поведения в трудную минуту, о мере ответственности за свой поступок и его последствия. И шире — это серьезные размышления и жизненной позиции человека.

Такое размышление содержит в себе рассказ «Камилл и учитель».

Римский полководец Фурий Камилл не мог овладеть городом Фалерия. Фалесский учитель, рассчитывая на богатую награду, привел к римлянину в качестве заложников, обманув их, детей именитых фалесских граждан. Прогнав с позором учителя, Камилл обратился к детям своих противников: «Молодые фалески, когда вы будете большими и вам придется воевать с сильным и мужественным врагом, вспомните, что нужно всегда и во всех случаях полагаться на собственные силы, а не на злодейство других».

Наипростейшим кажется и содержание рассказа «Трус» — о мальчике, который должен был спуститься к берегу моря, но струсил: спуск показался ему слишком высоким, крутым и скользким. И даже упавшая удочка не могла заставить его ползти дальше. Но когда он увидел, что удочку взяла девочка, он кубарем скатился вниз. На поверку трус оказался и жадиной.

В начале 1941 года редакция журнала «Костер» обратилась к Пантелееву с просьбой написать рассказ, из которого читатель получил бы представления о таких понятиях, как долг, честь, верность. Пантелеев откликнулся на эту просьбу рассказом «Честное слово».

Два различных, полярных отношения к долгу и к слову

выявляются в этом рассказе с особенной остротой. Мы не видим тех больших ребят, которые позвали маленького играть в войну, приказали ему под честное слово охранять в качестве сержанта «пороховой склад», пока его не сменят, а сами бросили его, забыли о нем и ушли из сада. Им сейчас гораздо лучше, чем одинокому «сержанту»: они уже давно дома, в тепле, поужинали, конечно, а может, и десятые сны видят. «А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось…»

Какое доброе чувство вызывает у автора веснушчатый мальчик лет семи-восьми, умеющий крепко держать свое слово и покинувший свой пост лишь после приказания настоящего офицера.

Автор настолько покорен этим мальчишкой, что расстается с ролью рассказчика и говорит как бы *прямо от себя*. В полный голос высказывает уверенность в этом человеке, в том, что в любой ситуации он не струсит, не испугается, проявит такую же сильную волю, такую же твердость.

Знаменательно, что рассказ этот был напечатан в июне 1941 года и оказался как будто пророческим. Пантелеев словно предугадал здесь близкую реальность военных дней, когда такие же дети, как герой «Честного слова», в грозные годы фашистского нашествия уже всерьез, не в игре, а на самом деле самоотверженно служили Родине и помогали ей побеждать врага.

Глава 8
В осажденном городе

И мне любой дороже славы,
Что я ценой моей зимы
Владею счастием и правом
В стихах поставить «я», как «мы»

О. Берггольц

Первый год Великой Отечественной войны Алексей Иванович Пантелеев находился в Ленинграде. Во время блокады в городе оставалось много писателей: О. Берггольц, Н. Тихонов, А. Прокофьев, Н. Чуковский, Л. Рахманов, Вера Инбер, Е. Шварц, В. Кетлинская, Л. Будогоская. В незабываемой книге «Говорит Ленинград» О. Берггольц пишет о той ни с чем несравнимой гордости, которую она испытывает от сознания, «что голоса ленинградских писателей звучали в эти дни в полную силу».

В общей работе товарищей по перу Пантелеев принимать участия не мог. В этом смысле жизнь его была труднее, чем у других ленинградский писателей.

1941 год у него сложился так: перед самой войной он перенес операцию и в конце мая выписался из больницы. Дважды стоял он перед медицинской комиссией, и дважды комиссия не допускала его в армию. Он активно включился в работу группы самозащиты, а когда в конце декабря он оказался «последним молодым мужчиной в доме», управдом назначил его начальником домовой группы МПВО. «Вероятно, я должен был сказать Михаилу Арсентьевичу, что я не могу, не имею права… Но я не сказал. И вот совсем недавно я принял на себя обязанности руководителя местной обороны».

Чего же не сказал Пантелеев управдому?

В самом начале сентября 1941 года, когда вот-вот должно было сомкнуться кольцо блокады, он был вызван повесткой в управление милиции. В результате какой-то ошибки Пантелеев подлежал высылке из Ленинграда. Алексей Иванович не уехал. В тот же день он написал письма — в Совет фронта и своим московским друзьям и старшим братьям по перу Маршаку и Фадееву.

К концу марта в последней стадии дистрофии он был подобран «скорой помощью» и доставлен в больницу на

Каменном острове. Замечательные врачи, сестры Пластинины и М. П. Семенова, сделали все, чтобы спасти его. Эти же врачи спустя некоторое время спасли от смерти Александру Васильевну, мать писателя.

А в это время дело его уже решилось, нелепая ошибка была исправлена, только узнал он об этом много позже. 6 июля 1942 года А. А. Фадеев вывез тяжелобольного Пантелеева на самолете в Москву. Несколько месяцев Алексей Иванович провел в санатории и в госпитале. Несмотря на слабое еще состояние здоровья, в это время он уже работал в полную силу: привел в порядок и обработал ленинградские записные книжки написал рассказы и повести «На ялике», «Долорес», «Костя», «Голос Суворова», «Маринка», «Первый подвиг», «Главный инженер», пьесы «Анечка» и «Ночные гости».

В апреле 1943 года Пантелеев подал заявление в ГлавПУРККА с просьбой призвать его в армию. Он был направлен в Военно-инженерное училище в Болшеве, затем служил в инженерных войсках, был редактором ежедневной батальонной газеты «Из траншей по врагу».

Осенью того же года его отозвали из армии в распоряжение ЦК ВЛКСМ. Некоторое время он работал в Военном отделе, потом его направили на работу в издательство «Молодая гвардия». Несколько лет он был членом редколлегии журналов «Дружные ребята» и «Мурзилка».

В январе 1944 года по командировке ЦК ВЛКСМ Пантелеев едет в Ленинград: это было время решающих боев, окончательного разгрома немецкой группировки.

И вот снова Ленинград, город, уде все «до спазмов в горле, до слез, до сердцебиения знакомо». Целых — и каких! — полтора года прошло со времени отъезда. «Хожу, хожу — и не могу насытиться, наглядеться, налюбоваться и — нагореваться». И казалось еще, целая жизнь прошла со дня приезда и до того лня, когда прозвучал салют в честь освобождения города от блокады. Не знаю, как описать и с чем сравнить мгновенье, когда на углу Ковенского и Знаменской толпа женщин — не одна, не две, а целая толпа женщин навзрыд зарыдала, кода мальчишки от чистого сердца — и также со слезами в голосе — закричали «ура», когда у меня у самого слезы неожиданно хлынули из глаз».

В 1947 году, отказавшись от предложения перебраться на постоянное жительство в Москву, Пантелеев в звании капитана запаса возвращается в родной Ленинград.

Так выглядела внешняя биография Пантелеева в годы Великой Отечественной войны. Но за этим стояла большая жизнь писателя-патриота, подлинного ленинградца. Он не растерялся в

труднейших условиях, в каких находился почти год блокады: не имея возможности печататься и оружием слова участвовать в непреклонной борьбе, которую вели писатели за свой город, он работал ежедневно, уверенный в необходимости этой работы, убежденный, что об *этих днях* человечество должно будет узнать — и узнать всю правду. Потому и писалось ему «легко, как никогда легко и свободно». Вот декабрьская запись 1941 года:

«Сил нет, а тянет писать, работать. Сознание, как никогда, ясное… у стола моего до сих пор висит приколотый кнопками, начертанный еще в позапрошлом году девиз: «Nulla dies sine linea!». Плакатик закоптел, съежился, еле виден при свете коптилки, но — живет, вызывает, требует. Требует записывать то, что происходит вокруг, сегодняшнее, сиюминутное, писать правду и только правду (*эти* события лжи не потерпят…)».

В Музее истории Ленинграда хранится множество дневников времен блокады: обессиленные люди, не бравшиеся, быть может, никогда раньше за перо, считали себя обязанными запечатлеть по возможности дни и часы своей жизни, убежденный в том, что пережитое ими должно стать достоянием человечества и что дневник будет в этом смысле самым достоверным документом. Форма дневника, к которой стихийно обратились сотни никогда не писавших людей, оказалась близкой и многим литераторам. Не случайно одно из лучших произведений о блокаде получило название «Февральский дневник» (О. Берггольц), широко известны относящиеся к Ленинграду дневники военных лет Веры Инбер «Почти три года», Вс. Вишневского.

Давно уже были опубликованы и неоднократно переиздавались очерки Пантелеева «В осажденном городе» и «Январь 1944». В последней его книге «Приоткрытая дверь» (1980) большое место занимает раздел «Из старых записных книжек (1924–1947)».

Страницы этого дневника открывают много нового о войне и о жизни писателя в эти годы.

Мы узнаем теперь больше и о московском периоде жизни писателя, нам становится ясно, почему Алексей Иванович не мог приспособиться ни к прекрасным условиям «генеральского» санатория в Архангельском, ни к госпитальным — на Пироговке, ни к шумному быту гостиницы «Москва», пока наконец не подал заявление в ГлавПУРРКА с просьбой мобилизовать его. И только тогда стало «лучше, чище и, главное, спокойнее». Много интересного и поучительного мы узнаем о буднях Военно-инженерного училища, о Москве с сорок второго по сорок седьмой год.

Как всегда, на первом месте люди, их чувства, мысли,

поступки. Скупо, точно, без всякой аффектации образ времени возникает через такую, скажем, запись:

«Старуха в трамвае:

— Нет, братцы мои, я умирать сейчас несогласная. У меня все деточки на фронте. Вот война кончится, всех деточек своих повидаю, обниму, перецалую, а уж тогда — хороните меня с музыкой».

Резким контрастом к этим величавым словам покажутся иные:

«Тетка с очень тонкими подкрашенными губами:

— Всех жалеть — сердца не хватит».

Много будет еще московских впечатлений, но всегда рядом с ним Ленинград: то, что пережито там, невозможно забыть, невозможно не чувствовать постоянно.

Вот эпизод, отмеченный 2 августа 1942 года, когда он уже лечился в подмосковном «генеральском» санатории.

«Кормят нас — на убой. <…>

И тем не менее…

Сегодня за обедом вижу — мой сосед съел котлету, а гарнир, гречневую кашу, почти не тронул.

— Вы не будете? — говорю я.

— Что не буду?

— Доедать.

Недоуменно пожимает плечами.

— Нет.

И вот я спокойно придвигаю к себе его тарелку и ем недоеденную им кашу.

Он с удивлением и даже с некоторым ужасом на меня смотрит. Заметив этот взгляд, я говорю:

— Я — ленинградец, товарищ полковник.

Это отношение к хлебу и вообще ко всякой пище, как к чему-то священному, благословенному, вероятно, никогда не исчезнет».

Не случайно рядом с этой записью другая — переносящая читателя в Ленинград декабря 1941 года. Мама принесла ему, заболевшему, кусочек хлеба. Он неловко разломил его, и *крошка* упала на пол. Он не поднял ее сразу, но, лежа в постели, все время помнил: ему предстоит что-то приятное. «Что же? Ах, да, могу нагнуться и поднять с пола эту крошку — грамм или полтора черного хлеба!..» эта крошка хлеба запомнится на долгие годы.

Самые сильные страницы — и о людях, и о событиях, и о себе самом — приходятся на 1941–1942 году. Из многих записей, которые не оставят равнодушным читателя, особенное чувство

вызывают две: одна под названием «Стыдно вспомнить, другая — «Радостно вспомнить». Читая их, понимаешь, как обострено все было в жизни каждого человека и в жизни Ленинграда, какими мерками — не только общечеловеческими, но еще и своими, ленинградскими — мерялся тогда каждый поступок, каждое побуждение человека.

«Написать! Непременно написать о нем, об этом гаде.

<…>

…Рассказать, поведать людям, что было и такое в героическом городе» — с таких слов начинается запись о соседе по больничной палате. Злобный сытый паук, утаивший от больничного начальства продуктовые карточки; с каким-то аже удовольствием он рассказывал о том, как безжалостно убивал животных.

Но так получилось, что по просьбе этого человека автор идет в булочную выкупать скопившийся за время пребывания в больнице его хлеб. Случайно узнав об этом, за ним увязался один мальчик, буквально задрожавший «от родившейся в его душе надежды». Там, в булочной, он даже не словами, а глазами будет умолять о довеске к кирпичику граммов в шестьдесят-семьдесят. Нет, взрослый не отдаст ему эту горбушку и произнесет полагающееся слова: Не могу, милый Лева… Это не мой хлеб. Это хлеб соседа моего Тадыкина».

Казалось бы, все сделано правильно. Почему же «стыдно вспомнить»? Потому, что он все время будет видеть этого мальчика, видеть, «как мгновенно погасли, стали тусклыми, мертвыми его глаза, как вытянулось его дистрофическое серое лицо». И из его души вырвутся слова другие, ошеломляющие: «Никогда не прощу себе, что не украл этого довеска. А что же было «радостно вспомнить»?

В памяти всплывает история, случившаяся еще в конце сентября, когда, попав по сигналу «тревога» в убежище, он увидел у своих ног зарывшуюся в стружки ленточку хлебной карточки. «Хлеб на декаду! Такие сокровища я находил только в детстве, во сне.

Протянул задрожавшую руку, незаметно поднял карточку, спрятал в карман. И потом — в течение десяти дней получал по ней хлеб». Карточка была рабочая, давали по ней тогда четыреста граммов в день. Как и все продовольственные карточки в то время, она была безымянная, на предъявителя. «В оправдание себе могу сказать, что уже на второй день я понял, что ем чужой хлеб. На третий день я не стал его есть, отдавал маме и Ляле.

А потом… потом, чем дальше, тем больше стала грызть меня совесть».

С помощью лупы разглядел печать учреждения, выдавшего карточку, и корешок ее не выбрасывал. «Он лежал у меня на столе — и мучил меня.

Звучит излишне громко, но я понял, что не смогу жить с этим грехом на душе. Понял, что должен искать эту женщину и отдать ей свой долг.

Четыре килограмма хлеба ни скопить, ни купить я не мог. Я стал собирать все, что можно было собрать. Тогда еще можно было. <…> за месяц я скопил продуктов, стоимость и калорийность которых значительно превышали стоимость и калорийность четырех килограммов черного хлеба. Я считал, подсчитывал, пересчитывал, складывал, умножал…»

Теперь надо было найти пострадавшего, оказавшегося рабочим пассажа.

«— Вы Белов?

— Белов. Да.

— Скажите, вы карточку хлебную теряли?

— Да. Потерял. Давно уж.

<…>

— Я нашел вашу карточку.

Он открыл рот.

— Я съел ваш хлеб. У меня нет хлеба, чтобы отдать вам долг, но вот тут кое-что съедобное.

Он взял пакет, посмотрел на него, на меня. Ничего не сказал, положил сверток на верстак, обошел этот верстак и низко, поясно, как говорили в старину, мне поклонился.

Вот такое вспомнить радостно, сладко.

Как хорошо, легко дышалось и шагалось мне тогда…»

С чувством особой ответственности писатель оберегает правду каждого слова, сказанного им об осажденном городе. Ленинград для него словно живое существо, с его знакомыми до слез зданиями, с Невой, Фонтанкой, каналами… поэтому рядом с фактами все время будут соседствовать размышления, оценки, эмоциональный отклик — на радость, на горе, на высокое и низменное.

Где бы и как бы ни делались записи: наскоро, на ходу, в темноте, на морозе, на улице, на госпитальной койке, на подоконниках; на клочках бумаги, конвертах, даже на спичечных коробках, — писатель стремился сказать главное: то, что происходило в Ленинграде, было для народа и в равной степени для него, как писал он об этом, «кровью наших близких и пеплом наших жилищ».

Вот история, начинающаяся строчками прощания с близкими друзьями, талантливыми сестрами Д. — писательницей и

художницей, — вывезенными из Ленинграда в безнадежном состоянии (смерть настигла их в Сибири, на глухом полустанке). Думая о сестрах Д. (Алексей Иванович, наверно, не посетует, если читатель узнает, что речь идет о Елене и Наталии Данько), о том, как много они сделали в литературе и в искусстве, Пантелеев вспоминает Петергоф, где он встречался с ними в последний раз. Какая скорбь звучит в следующих затем строчках: «Петергоф! как больно мне не только произносить, но даже выписывать на бумаге это слово…»

И сразу же его подхватывает волна лирического воспоминания, и в его воображении возникает город сказочной красоты, увиденный сквозь призму детства, юности, довоенных времен.

«Никакой санаторий, никакой Крым и никакие Минеральные воды не могли мне заменить этого лягушачьего царства, этого туманного и дождливого городка, который именовался «русским Версалем», но в котором не мог бы ужиться ни один Людовик. Только Петр, этот великий бурсак, россиянин, переодевшийся в европейское платье, мог построить здесь свой маленький голландский домик и назвать его «Мон плезир» — мое удовольствие!..»

Но действительность возвращает писателя к сегодняшнему дню, наполняя скорбью и отчаянием:

«Рука у меня дрожит. Не от холода, а потому что я должен сейчас написать: в Петергофе немцы…

Я не могу думать об этом спокойно. Когда я сейчас пишу это, мне кажется, что меня бьют по щекам…»

Как и большинство его соотечественников, уверенный в победе над теми, кто «в диком каннибальском упоении празднует сегодня минутную победу», он готов сделать все, чтобы наступил час возмездия. «Но ведь это должно случиться рано, а не поздно. Мы должны предъявить счет — вовремя, пока еще не высохла кровь, которой он написан… пока не сровнялся с землей могильный холмик на глухом сибирском полустанке, где кончили свою жизнь Елена и Наталия Д.» («Счет, написанный кровью», февраль, 1942). Начавшаяся с очень личного, лирического воспоминания, запись кончается словами мужественными, скорбными, призывающими к активному действию, и автор по праву сражающегося ленинградца переходит от «я к «мы».

В ленинградских записях в новом качестве проявились многие стороны дарования Пантелеева: он не только достигает еще большей афористичности и еще в большей степени сказывается мастерство портретной характеристики, но разнообразнее становятся его краски, стремительней размах,

глубже чувство.

Есть в лаконизме многих страниц блокадных записей художественная законченность, завершенность, а вместе с тем каждая из миниатюр могла бы быть развернута в целое действие — драматическое, трагическое, комическое.

Вот юмористическая сценка на Мальцевском рынке. В ответ на чье-то возмущенное: «Какое безобразие! Только что была тревога и — опять!» — автор шутливо замечает: «Того и гляди, жалобную книгу потребует».

А вот другая, в трамвае; героиня ее — «ничем не примечательная девушка в ватных штанах и в стеганом красноармейском ватнике». Воздушная тревога, земля же гудит и стонет под ударами вражеских фугасок, всех гонят из трамвая, а она, как будто ничего не происходит, «с тем упоением и азартом, какой бывает лишь у детей и немногих взрослых», никак не может оторваться от чтения.

«Через плечо соседа заглядываю в книгу:

«Клянусь честью» — воскликнул герцог. — На вашем месте, ваше величество, я бы запретил этим коварным…»

Эпизод с девушкой — это беглая зарисовка, снимок на ходу, но как удачен этот снимок: он резко и точно передает сущность характера девушки, ее спокойствие, душевную непоколебимость — те черты, которые отличали ленинградку. И поэтому название маленькой новеллы — «Тотальная война» кажется особенно выразительным.

Вот быстрый, короткий диалог. Молодая женщина развелась с мужем. Несколько вопросов и ответов — и до глубины раскрываются, проявленные войной, два характера. Инициатива развода ее: вина мужа, оказывается, в том, что… он очень плохо переносил голод.

«Ну, знаете…» — восклицает собеседник, видимо, крайне удивленный мотивом обвинения. «Нет, нет, вы не представляете, какая это мерзость, когда в такое время… когда все вокруг… и женщины, и дети… и ты сама… А этот красавец бегает, как раненый тигр, по комнате, заламывает руки и на всю коммунальную квартиру рычит: «Есть хочу! Есть хочу! Есть хочу!»

Но если о девушке в трамвае Пантелеев пишет с добрым юмором, а о случившемся с молодыми супругами — подавив улыбку, то для рассказа о дворнике того дома, где он жил, он находит совсем иные слова и иную форму выражения. Два-три абзаца — и многое узнаем о Косте, который, как выясняется, в прежние времена не пользовался в доме доброй славой. Прощаясь навсегда с Костей, автор расстается как будто совсем с другим человеком, просто и честно выполнявшим свой долг ленинградца,

писатель изменяет обычной своей сдержанности. Он не хочет бояться слов, «которые выцвели и стерлись от долгого употребления и без которых все-таки не обойтись там, где имеешь дело с подлинными чувствами и с неподдельными страстями». Нет, слова, сказанные Пантелеевым, не кажутся стертыми — они кажутся единственно необходимыми, и эти строчки отзываются в душе читателя глубоким чувством:

«Впрочем, ведь я только хочу сказать, что Костя умер героем. Я убежден в этом твердо и до конца.

И вот я медленно выписываю: вечная память ему и вечная слава! Я пишу это, сняв шапку и положив ее на стол, хотя в комнате лежит снег и допотопный мой «Реомюр» показывает минус три градуса».

Эти записи раскрывают Пантелеева как художника, схватывающего явления жизни многогранно, объемно, широко. Рядом со страданием и болью возникает шутка, трагическое соседствует с романтическим, разрушение, гибель — с торжеством силы и красоты.

Казалось бы, что кроме чувства ужаса может вызвать представление о воздушном налете? А между тем картина, нарисованная Пантелеевым, — это пиршество красок на снегу и в небе, театральная феерия ослепительно яркого света, причудливой игры теней, быстрого движения похожих на гномов людей. Все в этой картине кажется необычным. И словно в каком-то фантастическом царстве, маленькие гномы расправляются с сонмом чудовищ: «Летят все новые и новые бомбы, воют, свистят, шипят, как черти на сковородке. Люди кидаюстя к ним, подхватывают, пинают валенками, затаптывают, забрасывают песком…» И снова громоподобный удар, и снова бросающиеся в зарево огня люди…

Вовлеченный в эту феерию, в эту стихию борьбы, автор не испытывает страха, напротив: «…в этом есть что-то от спортивного азарта, опьяняющее раздолье силы и мужеств, когда начинаешь впервые понимать, что, собственно говоря, значат слова: «Есть упоение в бою».

И почти рядом — картина, контрастная в каждой детали. Тот же ноябрь, как будто та же улица, но искалеченная, развороченная снарядами, засыпанная битым стеклом, кирпичами, штукатуркой. Вместо массы людей — одна старушонка тащит за собой детские санки. На санках лежит человеческое тело. И такой одинокой и беспомощной кажется эта маленькая, потемневшая от холода и голода старуха пред неумолимым бедствием. И словно темная ночь надвинулась на весь мир: «а ветер свистит в оборванных трамвайных проводах.

Белая крупа бежит по обледенелой мостовой. Холодно. Темно. И ни одного огонька на всем божьем свете».

Но и в эту непроглядную, лютую пору автору «Часов» и «Пакета» не изменяет чувство юмора, попавшаяся на глаза фраза: «Бедная Лиза рвала цветы и кормила свою мать» вызывает ассоциацию с бытом ленинградцев, которые тоже рвут и цветы, и всякую траву, кормятся этим сами и кормят своих матерей.

Автору как будто совершенно необходимо выяснить: почему же карамзинская Лиза — бедная Лиза? И вроде он находит и дает этому объяснение: «Вероятно, потому, что прежде чем покормить свою мать, ей приходилось, бедняжке, не только рвать цветы, но и продавать их еще потом, а на вырученные деньги покупать молоко, мясо, калачи и т[ак] д[алее]». Противопоставление «бедной Лизы» своим землякам содержит восхищение ленинградцами, но говорит об этом автор с шуткой, без всякого пафоса: «У нас куда проще. А кроме того, говорят что вегетарианцы живут дольше, чем люди, питающиеся бифштексами и отбивными котлетами».

В записях Пантелеева находит место возникшая в Ленинграде легенда, будто Суворов воспротивился, чтобы его памятник снесли в убежище, и не пожелал укрываться от вражеских ядер, уверенный, что, как и прежде, сумеет оказаться достойным тех почестей, какие воздало ему Отечество, будто бы пристыдил мастера, который начал разбирать памятник, а потом «рукой легонько повел, а рука у него — чугунная, пудика, пожалуй, четыре, а то и пять потянет». И в подтверждение истинности своих слов рассказчик уже в который, видимо, раз, заключает: «Вот он и стоит. Вы заметьте — хоть бы ему что! И бомба его не берет. И снаряд не трогает. Даже ни один осколочек, ни один камушек до него, голубчика, не добрался…

А ведь вокруг — вы посмотрите, что делается!..» («Голос Суворова»).

Изможденный и несдающийся город, на долю которого выпали неслыханные испытания, вызывает у Пантелеева исторические ассоциации Если про Севастополь времен первой обороны писали и говорили, что это «Троя втрое», — во сколько же раз Троя наш город?» И если знаменитый скульптор Фидий говорил, что когда он читает Гомера, люди кажутся ему вдвое большими, чем обычно, — «какой Гомер расскажет о нас потомкам и какому Фидию мы покажемся великанами?..» Задав этот вопрос, автор отвечает на него совершенно неожиданно. Снова в свои права вступает горький юмор, когда он пишет: «А ведь в большинстве своем мы среднего роста, и хлеба мы съедаем в день всего сто двадцать пять граммов» («Великаны ли мы?»).

Однако здесь писатель не хочет ограничиться только шуткой и в следующей записи «Не будем кокетничать» стремится дать беспристрастную оценку жизни города. Он вспоминает Александра Македонского, которому хотелось, чтобы потомки воображали воинов его великанами. Сам автор, создавая ленинградскую летопись, подчеркнуто отказывается от каких бы то ни было котурнов. Пусть наши потомки знают, «что были среди нас и малодушные, и трусливые, и холодные сердцем.

Что вражеские бомбы и снаряды действовали нам на нервы.

Что цветов не было, а в цветочных магазинах продавали семена редиски и луковицы гиацинтов, которые употреблялись в пищу.

Что жили среди нас мелкотравчатые шиберу и замаскированные спекулянты, скупавшие золото и фарфор, хлебные карточки и медицинский спирт, дуранду и морскую капусту.

Что за большие (астрономически большие) деньги из-под полы можно было купить все что угодно…

Что тем не менее нам постоянно хотелось есть. И что мы говорили об этом больше, чем полагается героям.

Что не все умиравшие от голода умирали безропотно.

Что женщины наши плакали, и плакали много и долго, пока не высохли их глаза.

Что лошади продолжали есть овес, пока их самих не съели…»

Спор с Александром Македонским, вроде бы шутливый («Нет, не будем кокетничать и не уподобимся Александру Македонскому»), кончается серьезным ответом на вопрос, почему же выстоял, выжил Ленинград. Просто и с достоинством говорит писатель о большом чувстве ленинградцев к своей стране к своему городу.

Еще полнее этот ответ содержится в замечательной новелле «Валя» — о шестилетней девочке, половина жизни которой прошла в блокадном Ленинграде. Детям писатель вообще посвятил много страниц. С горечью, с болью записывал он услышанные на ходу слова десятилетней девчушки: «Хорошо погибнуть вместе с мамой, правда? А то мама погибнет — что я одна на свете делать буду?» С великой благодарностью писал он о городе, который «заботится о детях… отдает им все — последнюю каплю молока последнюю конфету». И каким счастьем были для Ленинграда дети! «…Как хорошо, что они с нами!.. Уже одним присутствием своим они украшают и согревают нашу суровую фронтовую жизнь и как бы подчеркивают — ежеминутно, на каждом шагу — великий человеческий смысл нашей борьбы».

Поэтому такое особое значение приобретают его

размышления о девочке Вале. Ему бесконечно важно понять, как получилось, что его маленькая подружка, у колыбели которой «денно и нощно стояла смерть», совершенно здоровый, живой, полнокровный и даже розовощекий ребенок. И не только физически, но и душевно здоровый. Неужели же эти страшные годы никакого следа не оставили в ее маленькой душе: «Ну как не оставить, — как бы сам с собой рассуждает автор, — еще бы не оставить, — оставили, конечно.

Однако не нужно забывать, что эти годы были не только *страшными*. Мир, в котором жила девочка Валя, был наполнен не только звоном стекла, орудийными залпами, стонами раненых и вздохами умирающих. Воздух, которым она дышала, был насыщен, как электричеством, духом великого подвига. Отвага, доблесть и героизм входили в него составной частью — вместе с азотом и кислородом.

Да! Смерть стояла у колыбели девочки Вали. Но смерти пришлось отступить, победила жизнь».

К этой записи о маленькой Вале примыкает своим настроением, своим глубинным переживанием другая, тоже сделанная в январе 1944 года запись, в которой так нераздельно сливаются все чувства автора — и лирические, и гражданственные:

«Вечером ехал в полупустом вагоне трамвая через Кировский мост… окна заиндевели. На секунду приоткрыл дверь, и навсегда запомнилась эта сказочная картина, мимолетное петербургское виденье…

Решетка моста, за ней освещенная (от мольного) луной Нева, длинная черная полынья, а дальше — заснеженная набережная, смутный силуэт Исаакия… Морозная дымка над всем этим, как будто иней висит у тебя на ресницах.

Почему-то вспомнил в эту минуту девочек, работающих на улице Некрасова. И вдруг как ознобом охватило меня сладостное чувство счастья.

«Быть Ленинграду!» — подумал я. И может быть, даже не подумал, а вслух это сказал».

Почти во всех рассказах, написанных во время войны или спустя короткий срок, писатель обращается к Ленинграду: в основе этих рассказов лежат чаще всего, казалось бы, негромкие, даже будничные случаи, происшествия, но каждый, пусть даже рядовой, факт позволяет ему увидеть и показать глубинные черты жизни города.

«В «страховике» лежат маленькие дистрофики — брат и сестричка. Мама умерла, папа на фронте.

— Мы так голодовали, что папины кожаные перчатки сварили

и съели».

Пройдет время, из этой записи родится небольшой рассказ «Кожаные перчатки», всего из сорока строк. Эмоциональная сила его заключается в том, что рядовой, ничем не выдающийся для ленинградца случай высветился со стороны, взглядом отца этих детей. Позади у этого человека тяжелое военное прошлое. Но когда ему приходится вспомнить о самом страшном случае из его жизни, он, перебрав многие тяжелые испытания, выпавшие ему на долю, с непреходящим потрясением скажет: «А в-вот с-самое ст-страшное — это когда я в сорок втором году письмо получил из Ленинграда — от сынишки… д-десятилетнего: «П-п-папочка, — пишет, — ты нас п-прости с Анюткой… мы-мы в-вчера т-т-в-вои к-кожаные п-перчатки св-сварили и с-с-съели». Маленький факт вырастает в громадное обобщение, в полный голос здесь сказано о противоестественности, несовместимости понятий «дети» и «война».

Один из самых лирических рассказов войне — «Маринка» тоже родился из небольшой записи о большеглазой девочке, веселой резвушке в красном сарафанчике. Несколько встреч взрослого с девочкой превращаются в историю о том, как война изменяла жизнь вокруг Маринки и как изменялась она сама.

Так же, как и в «Кожаных перчатках», повествование ведется лаконично, с той эмоциональной сдержанностью, за которой ощущается напряженность авторского чувства. Рассказ этот не только о девочке, а еще и о себе самом, о том, как переплетались судьбы людей Ленинграда, как в одной судьбе находила отражение другая.

Первые месяцы хоть и изменили Маринкин быт, но она по-прежнему жила своим детским мирком, и немцы для нее были лишь новыми персонажами этого мира. Немца она боялась, как боятся дети чудища из сказки, и вопрос взрослого, что стала бы она делать, если бы в комнату вошел немец, она воспринимает пока лишь как момент увлекательной словесной игры, в которую она охотно включается.

«— Я бы его стулом, — сказала она.

— А если стул сломается?

— Тогда я его зонтиком. А если зонтик сломается — я его лампой. А если лампа разобьется — я его галошей…»

Новая встреча относится к совсем другому времени. Прошло четыре месяца, но какие изменения они принесли! Одна фраза: «Полярная ночь и полярная стужа стояли в ленинградских квартирах» — и на страницы рассказа ложатся страшные приметы ленинградской блокады. Одна, но какая редкая по впечатляемости подробность: «На огромной кровати, под грудой

одеял и одежды теплилась маленькая Маринкина жизнь». Да, теперь любоваться ею трудно. Но на место любования девочкой-куклой приходит большее — жалость, любовь, горестное сочувствие. «Я сел у ее изголовья. Говорить я не мог». Казалось, ничего детского не осталось в чертах ее лица.

Именно теперь, когда жизнь в ней едва-едва теплится, твердо и убежденно звучит ее ответ на вопрос, боится ли она по-прежнему немцев: нет, не боится. Совсем иначе отвечает она и на тот, старый, вопрос, что бы она сделала, если бы немец вошел к ней в комнату.

«Она задумалась. Глубокие, недетские морщинки сбежались к ее переносице, казалось, она трезво рассчитывает свои силы: стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всем доме днем с огнем не найдешь.

Наконец она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки.

— Что? — переспросил я.

— Я его укушу, — сказала Маринка. И зубы ее еще раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому немцу, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату».

И вот третья, может быть, самая волнующая встреча. Опять двумя фразами писатель создает ощущение времени: «Много могил мы вырубили за эту зиму в промерзшей ленинградской земле. Многих и многих недосчитались мы по весне». Это ощущение усиливается от первых слов Маринки, увидевшей своего друга. «Дядя, — сказала она, обнимая меня, — какой вы седой, какой вы старый…» Оба радуются, что видят друг друга «какими ни на есть, худыми и бледными, но живыми».

Глядя на Маринку и ее подруг, на этих детей, которые были «еще не дети, а детские тени», рассказчик с особой силой ощущает себя ответственным за жизнь детей, за их будущее. И отвечая на вопрос Маринки о том, скоро ли разобьют фашистов: «Да, скоро», он чувствует, что берет на себя очень большое обязательство. «Это была уже не игра, это была присяга».

Стремление писателя как можно глубже понять, высветить характер защитника Ленинграда определило главную художественную задачу рассказа «На ялике». Все в этом рассказе построено на контрастах. Пперевозчик, человек в неуклюжем плаще по имени Матвей Капитоныч, неожиданно оказывается мальчиком лет одиннадцати-двенадцати, с худеньким, темным от загара лицом, со смешными оттопыренными ушами. Несовместимы тишина чистого неба, солнечный июльский день, где, казалось, могло быть место лишь цветущей зелени, рыбачьим

сетям, легкому дымку над маленькими домиками, и неизвестно тогда налетевшая и приносящая смерть гроза, гром зенитного огня, страшная музыка воздушного боя.

Рассказ ведется от первого лица. Рассказчик-автор тоже там, на ялике, и, когда в воду и спереди и сзади, и справа и слева от лодки начинают падать осколки, ему тоже, как другим, становится страшно и тоже хочется нагнуться, зажмуриться, спрятать голову. Но он не мог этого сделать. Перед ним сидел мальчик, который «ни на один миг… не оставил весел. Так же уверенно и легко вел он свое маленькое судно», и на лице его нельзя было прочесть ни страха, ни волнения.

Загадка бесстрашия перевозчика волнует взрослого. Может он не боится потому, что еще маленький и не осознает, что такое смерть?

Но оказывается, Мотя знает, что такое смерть: на этом же ялике совсем недавно погиб от осколков фугасной бомбы его отец. «Как же он может?.. как может этот маленький человек держать в руках эти страшные весла? Как может он спокойно сидеть на скамейке, на которой еще небось не высохла кровь его отца?»

И тогда взрослый понимает: в лице Моти, которого бабы называют Матвеем Капитонычем (и это горький знак утраченного мальчиком детства), а командиры на батарее — адмиралом Нахимовым, он встретился с характером, сформированным войной, с человеком, чувствующим себя ответственным за ее исход. Нет, не просто, не легко дается ему утомительная и опасная его работа. Но он убежден: «легче ведь не будет, если бояться». а беспрерывные крики: «Матвей Капитоныч, поторопись!» — свидетельство его необходимости людям и городу, и потому, что бы то ни было, он всегда на своем посту. И днем, и ночью, и в дождь, и в бурю».

Все внимание автора отдано мальчику, но не случайно рассказ называется «На ялике»: перед читателем проходят три героя — отец, Мотя и его младшая сестренка Манька. В представлении читателя они и останутся трое — взрослый, подросток и совсем маленькая девочка, скромно, просто и с подлинным героизмом защищающие от врага свою землю.

В 1943 году по заданию ЦК ВЛКС Пантелеев должен был написать очерк о подвиге Александра Матросова. В его «Записных книжках» есть помета: «Работал с интересом. Матросов — бывший беспризорный, у него трудная судьба». Очерк был опубликован в «Комсомольской правде». Но писатель продолжал еще работать над материалом, ему хотелось со всей глубиной рассмотреть подробности этого необыкновенного характера, как можно полнее

описать эту жизнь до последнего часа.

Работая над материалом, писатель пытался подобраться к самому потаенному, к тому, что так глубоко запрятано в душе молодого воина, чего не может высказать Саша сам, потому что, наделенный огромной способностью чувствовать, он не умел облекать свои чувства в слова. Поэтому так лирична интонация рассказа, поэтому так дороги внутренние монологи Матросова, из которых читатель узнает о том, как юноша любит и видит мир природы, опьяняющий его и раскрывающийся перед ним в ослепительно яркой и необъятной красоте; о том, как молодо, жарко он влюблен в жизнь. «Ах, как хорошо, — думал Саша, — какой славный день впереди. И как это вообще здорово и замечательно — жить на свете!»

Что толкнуло его закрыть своим телом амбразуру вражеского дзота, о чем он думал в эти «короткие секунды своего последнего пути по родной земле?» Автор деликатен: вряд ли здесь были бы уместны какие-то слова. Но все предшествующее этому моменту как бы является самым лучшим тому объяснением. И отозвавшаяся в сердце молодого воина картина зимнего леса, когда «солнце еще не показалось, но уже поблескивал снег на верхушках деревьев, и уже нежно розовела тонкая кожица на молодых соснах. А снег под ногами из голубого превратился в белый, а потом стал розоветь — и чем дальше, тем гуще и нежнее становился этот трепетный и розовый оттенок». И мысли о живущих в деревеньке с таким уютным названием Чернушки людях — тут, рядом, томящихся и ждущих спасения от власти двуногого зверя — так представлял себе Саша врага, поселившегося на самой дорогой и милой сердцу земле. И смерть близких товарищей. Не назовешь всего, что заставило Александра Матросова принять мгновенное решение, что толкнуло его на тот порыв, в котором он вдруг открылся полностью, до конца.

Рассказывает ли Пантелеев о юной связистке («Долорес») или о славных делах Леши Михайлова, выстроившего по заданию двенадцать ложных объектов («Главный инженер»), описывает ли трогательную историю дружбы девочки и полковника-танкиста («Платочек»), говорит ли о событиях и людях известных и безызвестных — все вместе его произведения складываются в полную художественной правды картину незабываемого времени Великой Отечественной войны.

Глава 9
«Знакома ли вам радость доброго поступка?..»

Хозяйка: …тебе трудно, сынок?
Медведь: …Да, хозяйка! Быть настоящим человеком — очень нелегко.

Е. Шварц. «Обыкновенное чудо»

Как-то у Пантелеева спросили: есть ли в его творчестве тема, которой он сохраняет верность, самая важная для него тема?

«Я думаю, — ответил он, — что такая тема есть. Только не знаю, как точнее ее обозначить. Скорее всего это тема *совести*».

Понятие совести, не раз говорил писатель, сегодня для кого-то утратило свою ценность, а кому-то, быть может, и вовсе незнакомо.

Обращаясь к различным жизненным ситуациям, Пантелеев в своих книгах постоянно убеждает читателя: человек должен растить свою душу, накапливать и проявлять лучшие душевные качества ежедневно, всегда, в самых, казалось бы, будничных и незаметных обстоятельствах.

А ведь часто какому-нибудь подростку обыденная жизнь представляется скучной, серой. С тоской ходит такой человек по земле, уверенный, что пропадают зря его необыкновенные возможности.

Одиннадцатилетний пастушок, прикуривая у военных папиросу, жалуется на то, что хотел бы, но не может совершить подвиг. Еще идет война, но все равно его совершать негде: «Фронт от нас далеко: километров… тыщи две. Полюсов — тоже нет. Хоть бы граница какая-нибудь была — и той нету».

Так получается, что собеседником мальчика в рассказе «Первый подвиг» оказывается герой Отечественной войны, да еще и бывший пограничник. Многое, вероятно, мог бы о себе рассказать раненый офицер. Но ошеломленный пастушок узнает лишь о том, что первым настоящим своим подвигом полковник считает тот день, когда он бросил курить. История о том, как он однажды чуть не погиб и погубил из-за папиросы большое дело, увлекательна и сама по себе. Но этим рассказом полковник, конечно, по-своему отвечает на вопрос мальчика, как бы

предлагая ему попробовать на пути к будущему подвигу побороть в себе «маленькую страстишку» — бросить курить.

Однообразным, скучным кажется его существование и другому мальчику — Володьке Минаеву, герою рассказа «Индиан Чубатый»; этот рассказ написан тоже вскоре после войны. В Володьке причудливо сочетаются совершенно разные качества. Он чувствует красоту природы, он добрый и чем-то привлекателен. Но вместе с тем он такой врун, выдумщик и балаболка, каких не только в его деревне, но и во всем районе не встречалось. Не случайно и прозвали его Индианом Чубатым. Откуда пошло это прозвище, кто и когда его первый раз так назвал — неизвестно, но было в нем «действительно что-то петушиное и голубиное вместе».

Самое замечательное то, что автор как будто не противопоставляет выдумкам Володьки ничего особенного. В рассказе не происходит никаких событий, в нем не описываются выдающиеся люди или необыкновенные происшествия. Вранью героя о золотом топоре, найденном в лесу, или о трехствольном ружье, подаренном несуществующим дядей-генералом, или о пятидесятирублевках, «отваливаемых» ему отцом, противостоят самые обычные разговоры людей о нуждах послевоенных лет. И когда Володька врет, будто он питается шоколадом, это не только не вызывает у них, как он рассчитывал, зависти или восхищения, — напротив, они смотрят на него презрительно: слишком уж далека его болтовня от их насущных трудных деревенских забот.

А.И. Пантелеев, И.И. Халтурин, Е.И. Шварц

Да и сама история, что произошла с Володькой, вроде ничем не примечательна. Просто человек два дня не ходил в школу, уверенный, что обретенная им свобода откроет перед ним возможность жить ярче, интересней, не так, как живут другие.

Однако наступает момент, когда для Володьки это будничное оборачивается другой стороной. Нет, ничего особенного так и не произошло. Просто он почувствовал, как ему скучно и одиноко, просто он понял, что нужно не бежать от жизни и людей, а быть с людьми, быть у дела — иначе жить незачем.

В свое время на вопрос учительницы, почему он так часто врет, Володька отвечал: «Скучно, если говорить правду». Возражая Володьке, учительница высказывает свое отношение к жизни, высказывает сухо, спокойно, деловито: Не всегда, Володя, мы делаем то, что нам хочется. У всякого человека есть свои обязанности. И если мы честно, по мере наших сил выполняем эти обязанности, нам не может быть скучно». Отец Володьки тоже говорит сыну без всякого пафоса: «Все люди работают, у всех на уме дело».

Да, и учительница, и отец скромно, просто делают свое дело. Учительница терпеливо тащит из класса в класс непутевого Володьку; отец деловито и спокойно занимается плотницкой работой; так же ежедневно трудятся и остальные, выполняя свои

обязанности. И окружают их не какие-нибудь сказочные горы или моря, нет — простая, неяркая, но с такой любовью переданная автором, милая сердцу красота вспаханной земли, вьющейся лентой реки, бескрайних полей.

Впервые тронутый реальной красотой окружающего его мира, Володька убеждается, что порвать с ним невозможно, что-то гонит его назад, и, не стыдясь неизвестно откуда взявшихся слез, в первый раз он говорит с учительницей чистосердечно и искренне.

И уже совсем иначе для него звучат почти те же слова учительницы, когда, расстроенный, не зная, куда деваться, он стоит на школьном дворе.

«— Можешь и ты идти, Минаев.

— Куда? — испугался Володька.

— Ну, как же ты думаешь: куда? В свой класс, на свое место, к своим делам и обязанностям».

Опять учительница открывает перед Володькой как будто не очень большие перспективы: свой класс, свое место, свои обязанности. Казалось бы, нет ничего особенного и в конце рассказа: обыкновенный урок, обыкновенный диктант, но Володька теперь с особой силой ощущает эту радость — чувствовать свою органическую связь с жизнью класса, товарищей, а стало быть, и со всем, что его окружает.

В истории с пастушонком и с Володькой Минаевым писатель рассматривал очень важные, существенные, но эпизодические моменты в жизни подростка. Глубокий всесторонний разговор об истоках человеческого характера, о том, что его формирует, исследование жизни человека на протяжении многих лет определило идейное содержание большой повести Пантелеева «Ленька Пантелеев» (1952).

«Ленька Пантелеев» — это книга о человеке, судьба которого оказалась связанной с жизнью страны на самом крутом ее повороте: повесть о его детстве и юности стала одновременно книгой о незабываемом времени революции и гражданской войны. Читатель знакомится с Ленькой пятилетним, расстается с тринадцатилетним. И сами по себе восемь лет в таком возрасте — целая эпоха, но Ленькины восемь лет оказываются особенными, в них укладываются события небывалого масштаба, перевернувшие жизнь России: первая мировая война, Великая Октябрьская социалистическая революция, война гражданская.

«Ленька Пантелеев» книга во многом автобиографическая. Вместе с тем писатель неоднократно подчеркивал: «Герой этой повести — не я, а человек с очень похожей судьбой и с очень знакомым автору характером. Уточняя, скажу, что судьба героя кое в чем приглажена, а характер упрощен и смягчен». Похожим

на Ленькиного отца, но иным на самом деле был Иван Афанасьевич Еремеев; некоторые персонажи в повести — вымышленные; смещены в последовательности какие-то факты, события: многое из того, что было уже во время скитаний после Шкиды, автор увязал с ранним периодом жизни героя, — к примеру, возвращение Леньки в Питер на поезде, груженном улем, и другое. Отождествлять биографию писателя с повестью «Ленька Пантелеев» было бы неверным.

Сюжетно повесть построена как воспоминания героя, ожидающего после очередного привода в милицию своей участи. Хоть и не впервой Леньке оставаться одному в темной камере и не впервой ему видеть на окне несложный узор тюремной решетки, но почему-то на этот раз ему особенно больно. Сквозь слезы (а казалось, он уже разучился плакать) он совсем иначе видит свою жизнь, со всем тем, что было в ней и самого страшного и горького и самого хорошего.

Память выхватывает главное. Вспоминается отец, окруженный в сознании мальчика ореолом подвига, — человек со сложным характером, сочетающий в себе способность к крутым и безрассудным поступка с добротой и мягкостью, и всегда требовательный в вопросах чести, порядочности.

С детских лет в память мальчика врезался такой эпизод. Однажды Ленька купил на двадцать пять копеек пять букетов подснежников. А через несколько минут — совершенно неожиданно для себя — продал их по двадцать копеек за букетик. Он был уверен, что дома его похвалят, но, к полному его удивлению отец пришел в неописуемую ярость.

«— Хорош! — кричал он, раздувая ноздри и расхаживая быстрыми шагами по комнате. — Ничего себе, вырастили наследничка! Воспитали сынка, мадам! Каналья! Тебе не стыдно? Ты думал о том, что ты делаешь? Ты же украл эти деньги!..

— Почему? — остолбенел Ленька. — Я не укгал, мне их дали…

— Молчи! Дубина осел эфиопский! Надо все-таки голов на плечах иметь… Ты их украл… да, да, именно украл, вытащил из кармана у той бабы, которая продала тебе цветы по пятачку…»

И голодному Леньке пришлось одеться и снова идти на рынок: выполняя приказание отца, он должен был найти ту женщину, которую он «обманул», и вернуть ей эти «дрянные деньги».

Как ни замкнуто существование этой семьи, события, происходящие в мире, все больше дают о себе знать. Тот, уже ни на минуту не утихающий, ветер и начавшаяся в феврале веселая жизнь «со стрельбой и флагами», пением «Марсельезы» и

«Варшавянки» подхватывают и Леньку. Но что знает, что умеет, что понимает этот домашний мальчик?

Он совсем не похож на своих сверстников. Рядом с крестным братом Сережей, сыном пожилой поденщицы, воспринимающим события революции деловито и просто, и циничным Волковым Ленька выглядит таким наивным и доверчивым, таким далеким от жизни! Пока он верит всему. Он верит словам Волкова-отца, что все большевики — шпионы, и со всей страстью, на какую способен, бросается на разоблачение горничной Стеши: ведь Стеша — большевичка. Он верит словам старухи генеральши о том, что большевики будут вешать на фонарях всех, у кого белые руки, и стоит появиться у них в доме красногвардейскому патрулю, как он первым делом намазывает себе руки и лицо теплой золой. Но когда на вопрос матроса, есть ли в доме оружие, мать отвечает отрицательно, он бежит к «казачьему сундуку», где хранится военная амуниция отца, и с готовностью отдает все находящееся там богатство, все вещи, которые трепетно любил.

Таким вот, готовым по первому побуждению сделать что-то хорошее, одаренным большой силой воображения, замечательным в своей наивности и честности, десятилетний Ленька отправляется вместе с матерью, братом и сестрой из голодного Питера в дальний путь — в Ярославскую губернию.

Наступает новый этап в Ленькиной жизни: дела семейные уходят на второй план, а на первом оказываются события политические. Политические страсти кипели в Чельцове, куда привезла семью мама, с не меньшей силой, чем в том городе, где началась революция; настроения взрослых отразились и на детях, в первую очередь на их играх. Почему так случилось, что, когда начались осложнения в деревне, Ленька и его друг по играм Игнаша Глебов вдруг оказались в разных лагерях? Мог ли Ленька ответить на это вопрос? Вряд ли. А сердце уже сделало выбор, честный и справедливый, с помощью тех представлений о хорошем и плохом, о том, что есть правда, какие он вынес из отцовского дома.

Настоящей, незабываемой школой стали для Леньки несколько дней в Ярославле, куда его, заболевшего дифтеритом, повезла мать. Какие контрастные впечатления обрушиваются на Леньку! Сначала был Ярославль, который потряс мальчика своей красотой. Голубое небо, высокий, утопающий в зелени берег, и на нем, словно выточенные из хрусталя, сахарно-белые дома, белоснежные башни, белые колокольни. Была мирная гостиница, встреча с веселым доктором, и казалось, единственным огорчением стал неприятный укол…

Но проходит всего несколько часов, в Ярославле начинается

белогвардейский мятеж, и перед ошеломленным Ленькой предстает совсем другой город — страшный, развороченный, изувеченный снарядами. На его улицах Ленька с ужасом впервые видит убитых и раненых, шальная пуля чуть не обрывает и его жизнь.

Те дни, что Ленька провел в подвале гостиницы и в похожем на цыганский табор ее коридоре, оставили след навсегда. Ограниченный пределами крохотного помещения, мир и здесь оказался поделенным на два лагеря. И здесь, как в капле воды, отразилась современная жизнь, и здесь со всей четкостью надо было выбирать — и Ленька снова выбрал точно, безошибочно.

Ярославские страницы вместили в себя много событий, подробностей, лиц. Слышишь, чувствуешь интонацию голоса немолодой учительницы Тиросидонской, словно видишь ее, когда на вопрос Лешиной мамы, не страшно ли ей было оставаться в гостинице во время обстрела, она отвечает: «Да ведь не страшнее, сударушка, чем другим. А я, вы знаете, что делаю, матушка? Я, когда уж очень сильно пулять начинают, зонтиком закрываюсь». Не случайно эта на вид суровая, а на поверку добрая и справедливая женщина стала в эти дни опорой для Александры Сергеевны и Леньки.

Сильно, просто, на одном дыхании создает Пантелеев еще один образ — молодого человека, тоже оказавшегося в подвале гостиницы, когда шла борьба за город. Между ними тремя — мамой, Ленькой и новым знакомым возникает симпатия. Как будто никакого отношения не имеющая к политике, Александра Сергеевна чутьем догадывается о грозящей ему опасности.

Совсем немного слов сказано о его внешности, манерах, голосе, о выдержка, спокойствие, уверенность этого человека — все подготавливает читателя к последнему эпизоду, так точно завершающему образ.

Подталкиваемый к выходу из гостиничного ресторана и сопровождаемый наглым смехом белогвардейцев, «уже в дверях он оглянулся, прищурился и громко, на весь ресторан, но очень спокойно, легко и даже, как показалось Леньке, весело сказал:

— Смеется тот, кто смеется последний!..

Ленька на всю жизнь запомнил и эту фразу, и голос, каким она была сказана. Даже и сейчас еще она звучит в его ушах».

С каждым днем глубже, полнее раскрывается действительность перед Ленькой. Особенными оказались для него встречи с председателем комбеда Василием Федоровичем Кривцовым. Описывая его наружность, беседы с Ленькой, писатель щедр на краски, подробности. В результате возникает редкий по красоте, значительности характер. Леньку поражает

его одухотворенное лицо с длинными, стриженными в кружок волосами, с большой русой, слегка золотящейся бородой. С этим прекрасным лицом гармонируют негромкий глуховатый голос, по-особенному привлекательная речь — плавная, певучая, образная, обладающая магической силой убеждения.

Возникает образ мечтателя, увлеченно верящего в возможность утверждения на земле свободы и вольности, добра и справедливости. Очарованный поэзией Некрасова, он читает Леньке наизусть строки из «Кому на Руси жить хорошо», не замечая, что и сам напоминает героя этой поэмы, готового к дальнему и жертвенному пути правдоискателя. Каждый разговор с ним наполняет Леньку ощущением встречи с чем-то нужным как воздух, с чем-то цельным и подлинным.

В этих трудных и непривычных условиях по-новому открывается и Александра Сергеевна. Теплом и любовью овеяна каждая строка, где автор пишет о матери героя повести: возникает портрет женщины редкого благородства, естественности, простоты такта. Всем своим обликом, отношением к сыну она напоминает написанные трепетной рукой портреты мамы Николеньки Иртеньева, матушки Сережи Багрова, бабушки Алеши Пешкова. Л. Пантелеев продолжает здесь традиции русской автобиографической повести.

Александра Сергеевна очень быстро определяет свое социальное положение, и на вопрос, кто она, ей ответить легко: учительница. Еще в Питере она начала давать уроки музыки. Но тогда это казалось временным, случайным, теперь ее культура, вкус, образование и вдруг открывшийся неожиданно для всех и для нее самой организаторский талант помогают ей найти себя по-настоящему, обрести в работе радость и уверенность.

С каким счастливым чувством вспоминал Ленька день маминого концерта в клубе. В зале было холодно, зрители сидели в шинелях и полушубках, завтра они снова возвращались на фронт. Но как дружно они аплодировали пению Александры Сергеевны, как тепло благодарили ее! Когда медленно шли, возвращаясь с концерта, Ленька вдруг услышал плач.

«— Мама, что с тобой? — испугался он.

— Ах, ты бы знал, — сказала она, останавливаясь и разыскивая платок, — ты бы знал, какие это хорошие, какие чудесные люди!..»

Мама была ближе, нужнее всех для Леньки. Помнит он, как в тревожные ярославские дни, измученная беспокойством за сына, Александра Сергеевна в шутку пригрозила, что будет привязывать его за веревочку. «Привяжи! Привяжи! Пожалуйста! — шептал Ленька, прижимаясь к матери… В эту минуту он только этого и

хотел — чтобы всегда, каждый час и каждое мгновение быть рядом с нею».

С отъездом матери в командировку кончается пора детства героя и начинается другая пора, полная испытаний и горя. Рисуя путь Леньки, отправившегося на поиски Александры Сергеевны в Питер, автор ничего не сглаживает: суровой и трудной открывается жизнь перед мальчишкой, пустившимся в одинокое плавание по стране. Он становится беспризорником.

Было это на «ферме», куда следом за братом Васей тетка отправила и Лешу: ферма представляла собой настоящий разбойничий вертеп. Есть краденое ему там уже приходилось: товарищи «великодушно делились с ним», и, хотя он немного стеснялся этого, в конце концов побеждал голод. Но однажды, сидя у костра, компания вспомнила, что утром из города привезли несколько пудов печеного хлеба — для подкормки племенного скота.

«— А ну — питерский! Лешка! Вали сбегай поди… Принеси буханочку.

Ленька вздрогнул, покраснел и ничего не ответил.

— Ты что — не слышишь? Кому говорят?

— Я не умею, — пробормотал Ленька.

— Ха! Не умеет! А чего тут уметь? Иди и возьми — только и делов.

<…>

Идти было страшновато. Екало сердце. В животе было холодно. Но о том, что он идет на кражу, Ленька не думал. Он думал только о том, что нужно сделать все это ловко, чтобы не осрамиться перед товарищами».

Прошло время, и Ленька уже не краснел и не вспыхивал при слове «воровство». Жизнь его покатилась от одного приюта до другого, замелькали дороги, базары, склады, пристани, вокзалы, детские дома, колония, отделения милиции. И все время в нем жила тоска по нормальной человеческой жизни, по вечерам с завистью глядел он на освещенные окна.

Были на этом пути и остановки, и тогда казалось, что все еще может измениться, наладиться. Так, в небольшом городке Мензелинске судьба столкнула его с замечательным человеком — комсомольским вожаком Юркой. Началась работа, учеба, снова захотелось писать стихи, пьесы. Юрка не только физически спас замерзающего на улице Леньку. Рядом с этой деятельной добротой, уверенной целеустремленностью отошла, отогрелась душа мальчика, истосковавшегося по теплу, по честной жизни. Хотелось всеми силами оправдать доверие человека, в котором Ленька почувствовал старшего, верного и требовательного

товарища.

Но вмешиваются грозные события, неумолимо напоминающие о времени, Юрка погибает — и оставшегося в одиночестве Леньку опять подхватывает как щепку, снова он плывет, не зная направления, не умея справиться с течением. Однажды он чуть было не остался в деревеньке под Уфой, у старых добрых людей, приютивших его. Но услышанный паровозный гудок снова позвал его в путь, в Питер, к матери.

И вот — через три с лишним года после отъезда — снова Петроград, город детства. Слезы текут по Ленькиному лицу, и он не верит, что шагает по родным улицам. Город и Ленька встречаются друг с другом. Как изменился Ленька за это время, как не похож он на того прежнего благовоспитанного мальчика в черной шинели реального училища. Но и город тоже стал неузнаваем. На каждой его улице, на мостовых и витринах магазинов, на домах и изможденных лицах людей — всюду видны следы прошедшей бури.

Сколько усилий потребуется городу, чтобы преодолеть разруху, голод, чтобы дать людям работу и хлеб? А Леньке? Какой путь выберет он?

Очень быстро приходится ему убедиться, что стать иным самому ему не по силу, не поможет ему тут и встреча с мамой, не спасут попытки снова начать учиться, работать. Всего этого будет недостаточно…

Кончаются воспоминания Леньки. Снова камера, и вроде снова все пойдет по старому кругу. Но нет, повторять пройденное Леньке теперь уже не дадут, аз человека будут бороться, его заставят избрать другую дорогу. Характерен разговор Леньки с бывшей горничной Стешей.

«— Ну что, казак? — сказала она тихо. — Не доплыл?

Ленька угрюмо смотрел на облезлую металлическую пряжку ее кожанки.

— Что же мы делать теперь будем? А?

— Что делать, — пробормотал Ленька. — Не доплыл — значит, на дно пойду.

— Не выйдет! — сказала она сурово. — За уши вытащим».

У повести «Ленька Пантелеев» два финала: мы видим Леньку, входящего в здание интерната, специальной школы для трудных и беспризорных ребят. Вручая свою путевку заведующему школой Виктору Николаевичу, он первым делом осматривает заборы: он вовсе не собирается долго оставаться в этом заведении, поживет какие-нибудь неделю-две и сбежит.

И второй финал, вернее, эпилог. Читатель узнает, что Ленька пробыл в этой школе-интернате почти три года и вышел оттуда

полноправным советским гражданином.

Горький опыт Ленькиной жизни заставляет писателя задуматься над сложными поворотами в человеческой судьбе и поделиться своим убеждением: «ведь никто не рождается преступником». Как бесконечно важно, если ты не одинок, если у тебя есть дело, если ты чувствуешь себя нужным людям!

Но не менее важно, как подготовлена для этого трудного пути по жизни твоя душа, каков ты сам, на что ты способен.

Мать, отец, книги, атмосфера дома, в котором жил, а еще больше атмосфера самого времени — все это пересилило то наносное, дурное, что, казалось, накрепко прилипло к подростку. Читатель с радостью узнает о том, как изменилась судьба Леньки: он навсегда обрел для себя твердую землю и жизнь его в дальнейшем — пусть не легкая и не гладкая — была до краев полна честной и большой работой.

Как далека действительность, изображенная в «Леньке Пантелееве» от того мира, в котором живет героиня книги Пантелеева «Наша Маша» (1966). Мир этот в основном ограничен кругом семьи, пределами одной комнаты, дачного садика, прогулками с мамой и папой. Но, несмотря на то, что в одном произведении повествование идет как бы вширь, а в другом как бы вглубь, книги эти отличает большое внутреннее сходство, их объединяет общая тема — становления человек формирования его нравственного облика.

В 1956 году в семье Элико Семеновны и Алексея Ивановича Пантелеевых родился ребенок, и это событие стало для них одним из самых счастливых в жизни. «Семьей я обзавелся уже в том возрасте, — рассказывает писатель, — когда порядочные люди готовятся стать дедушками. Появление в моей жизни дочери было благодатью, чудом — тем чудом, которого не знают, вероятно, родители более молодые».

А.И. Пантелеев с дочкой Машей.

Тем более хотелось отдать этому ребенку все свои душевные силы, все огромное чувство. Но не просто отдать. Еще до того, как девочка появилась на свет, еще не зная, кто у них будет, Ваня или Маша, родители дали друг другу обещание сделать все, что от них зависит, чтобы воспитать хорошего человека.

Тот дневник, который начал вести Алексей Иванович (некоторые записи делала в нем Элико Семеновна, некоторые воспроизводились с ее слов), был, вероятно, вызван потребностью и отцовской, и писательской одновременно. Теперь можно было вести ежедневные наблюдения за каждым поворотом в жизни поступок — плохой или хороший; дневник открывал и другую возможность: своеобразного самоконтроля, осмысления своих взглядов на воспитание. Каждый день, каждый факт давал повод для размышления, оценок и — шире — для выводов и обобщений.

Записи в «Нашей Маше» делались только себя, «для внутреннего семейного употребления», без всякого расчета увидеть их в руках читателя. Уговорил Пантелеева, настоял на публикации этого дневника выдающийся знаток детства, автор «От двух до пяти» К. И. Чуковский.

В свое время книга «От двух до пяти» ошеломила возрастом «героев». Интерес к человеку такого возраста казался странным, несерьезным. Пантелеев «спускается» еще ниже. Пристально следит он за ребенком, которому несколько месяцев, и в его наблюдениях открывается жизнь, полная смысла и значения.

Обращаясь к самому раннему периоду своей жизни, Л. Толстой в «Первых воспоминаниях» задает вопрос: «Когда же я начался? Когда начал жить? …Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь не приобрел так много, так быстро, что во всю остальную жизнь не приобрел одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня — только шаг. От новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние…»

Чувствуя, как писатель и отец, это «страшное» огромное расстояние от новорожденного до пятилетнего, уверенный, что именно от этого времени во многом зависит, каким человеком станет Маша, Пантелеев по-настоящему задумывается над сложными вопросами воспитания, и в частности семейного воспитания. Ибо он убежден: вообще нет более трудного и сложного искусства, чем искусство *воспитания человека*. Еще не родилась Маша, а оба они уже видели многие сложности, стоящие на их пути:

«Родители мы немолодые.

Опыта нет.

Ребенок единственный.

Материальный достаток — выше среднего. («Трудность» эту можно, конечно, взять в кавычки, но в неопытных руках материальный *достаток* и в самом деле может очень быстро превратиться в *недостаток*, так как с его помощью еще легче избаловать и испортить ребенка)». С какой открытостью говорит об этом писатель!

Да, еще не родился ребенок, а родители думают уже о том, каким он будет. Этот взгляд вперед приводит автора к важнейшему, определяющему все его отношение к ребенку убеждению: «Может быть, с трех, если не с двух месяцев Машка для меня *человек*, индивидуальность. Я чувствую, куда она может повернуть и куда, в какую сторону, по какому направлению ее следует подталкивать».

Именно поэтому он уверен: воспитание начинается буквально с той минуты, когда ребенок появляется на свет. «Она еще маленькая» — эта привычная отговорка (нужная взрослому для оправдания не только ребенка, но и самого себя) кажется ему «самой вредной, самой антипедагогической формулой, какую

только может выдумать человек, имеющий дело с детьми».

Отсюда еще одно важнейшее его признание: «Все дело в том (хотел написать: «беда в том», но не знаю, беда ли), что я отношусь к Машке по-настоящему всерьез… и люблю ее, и жалею, и гневаюсь на нее в полную силу, со всем пылом сердца, на какой способен».

В предисловии к книге автор предупреждает читателя, что он не педагог, а только родитель и, стало быть, не дает рецептов, советов — просто делится своим опытом. Да, делится в буквальном смысле слова — и здесь особенно подкупает откровенность, открытая эмоциональность. Он не стесняется признаться в своем незнании, в своей слабости («Ох, сколько ошибок делаешь! Ошибок, которые так трудно исправлять потом»), где-то он оставляет вопрос нерешенным, вовлекая, таким образом, читателя в этот живой, жизненно важный для него разговор.

Разве одного его интересует, скажем, такой извечный вопрос: почему одни дети (и подростки) быстро приспосабливаются к коллективу, а другие — нет? Почему одни (и не всегда по праву) командуют, верховодят, а другие подчиняются? Когда, в каком случае надо кого-то похвалить, поощрить, вселить уверенность в себе, а кого-то, наоборот, осадить, заставить быть поскромнее? И десятки других, требующих подчас немедленного решения вопросов.

Например: говорить или нет ребенку в любом случае правду? Ведь чуть ли не на каждом шагу ребенка «обманывают, объегоривают, обмишуривают.

— Иди, девочка, иди, дай ручку, больно не будет.

Девочка доверчиво протягивает руку, а ей: р-раз!

— Ничего, не плачь, сейчас пройдет.

Трудно, но надо воспитывать так, что:

— Будет немножко больно, но потерпи…»

И, заключая этот воображаемый спор, он приходит к выводу: «И всегда надо правду!»

И снова вопросы: всегда ли прав взрослый? Всегда ли он обязан выдержать характер? Вот вроде провинилась в чем-то Маша. Было сказано, что с такой девочкой ни мама, ни папа в лес не пойдут. Девочка не поверила, но взрослые на своем настояли. «И все как будто правильно. Проявили настойчивость, твердость. Наказали. Проучили. А меня не оставляет ощущение сделанной ошибки».

Как это, оказывается, непросто вовремя почувствовать, «в какой момент пора идти на мировую. Если этот момент правильно выбран, провинившийся ребенок охотно и по первому

зову кинется извиняться или объясняться».

И еще об одном размышляет автор:

«…Не всегда бывает виноват ребенок; очень часто и взрослые виноваты.

Нужно уметь извиниться перед ребенком, покаяться…

Не в угол себя, конечно, ставить, а так, чтобы ребенок понял твою справедливость».

Вместе с тем нельзя и «*потакать*, откликаться на каждую просьбу и на каждое требование (а просьба очень быстро перерастает в требование)».

Как актуально звучат слова писателя: если думать не только о физическом здоровье ребенка, не только об освоении им грамматических форм языка и если любить ребенка не «сусальной», не «конфетной», а настоящей любовью и видеть в нем «завязь, росток… будущего человека — нет более трудного и сложного искусства, чем это искусство».

Немаловажную проблему затрагивает Пантелеев, когда говорит о том, скольких детей избаловали люди, которые сами трудились не покладая рук. «Сама, бывало, недоем, недосплю, а дочку растила принцессой», — не раз похвалялась перед ним NN, «человек, казалось бы, неглупый, интеллигентный», оправдывая свою позицию тем, что она достаточно хватила в детстве лиха. Пусть уж дочка ничего этого не знает. А в результате — сколько слез, сколько бессонных ночей и преждевременных седин от этой изящной, «воспитанной», «играющей на рояле, говорящей по-французски «принцессы».

Воспитание такого рода писатель называет «внешним», любовь такого рода квалифицирует как животную, — ибо все здесь уходит «на служение чреву на вкусную еду… на башмачки и бантики, и совсем не думается о душе, о воспитании человека, о воспитании в высоком смысле слова, без кавычек».

В книге нет свода правил, наставлений, размышления возникают всякий раз по определенному поводу. Что оставляет благодатный след в душе ребенка? Как воспитать доброту, щедрость, гостеприимство?

Вот Маша вырывает из рук гостьи мячик: «Дай мячик! Это мой мячик!» Как найти слова, чтобы она поняла: так поступать нельзя? «Разве ты можешь представить, — говорит ей отец, — что мама или я, когда наш гость потянется за яблоком, хлопнем его по руке и скажем: «Оставьте! Не берите! Это наши яблоки!» От конкретного примера взрослый уже может подойти к объяснению законов гостеприимства.

Зная, как Маша плачет и сердится, стоит ей проиграть в какую-нибудь игру, взрослый проводит с ней беседу и предлагает

ей совсем иной способ поведения: не только не расстраиваться и не надуваться, а, напротив, «взять себя в руки, улыбнуться и поздравить того, кто выиграл, объединив всех играющих общим удовольствием, общей радостью.

В семье поощряется каждое правдивое признание девочки. Но когда оно делается в корыстных целях (чтобы избежать, например ответственности за грубый поступок по отношению к бабушке), в доме чуть ли не объявляется педагогический аврал: человек должен знать, что правда существует одна — бескорыстная, чистосердечная.

Есть в этой книге еще одна очень важная тема — взаимоотношения девочки с миром природы. Понимая, как трудно будет дочери, с ее постоянной готовностью пылко и самозабвенно защищать «меньших братьев», как часто ей придется сталкиваться с бездумной жестокостью и равнодушием, взрослый задается очень серьезным вопросом: «Не делаем ли мы ошибку, что поддерживаем в Машке ее страстную, убежденную любовь ко всему живому?» и уверенно отвечает: «Нет, не делаем!.. Пусть ей будет временами нелегко, но так и *только так* надо воспитывать человека!» Писатель уверен: «Маленький мучитель, убийца бабочек или муравьев не может вырасти хорошим, добрым, великодушным человеком».

И эти, и многие другие размышления, убеждения писателя, вызванные озабоченностью, казалось бы, судьбой одного человека, выходят далеко за пределы какого-то личного интереса, приобретают интерес общий, захватывают общие явления современной жизни.

Писатель много думает о *воспитанности* человека. Об этикете. О так называемых *хороших манерах*. «Нужны ли они? Не глупости ли это, не предрассудок ли как считают многие?» Он убежден: нужны! Ведь «если мы обращаем внимание на словарь, на фразеологию человека, на его костюм, на цвет галстука или сорочки, то не следует ли нам столь же требовательно следить и затем, как мы стоим, сидим, едим, ходим, как мы ведем себя в присутствии старших» и так далее.

Особенное внимание писателя вызывают молодые люди, которые сидят в вагоне трамвая или метро, либо прикрывшись для виду газетой, либо равнодушно взирая на какую-нибудь стоящую перед ними лицом к лицу сморщенную и сгорбленную старушку с узлом, с сумкой. Это проявление ужасающей невоспитанности для него тоже связано с явными упущениями в первоначальном воспитании оказывается, откладывать здесь что-то «на потом» нельзя, просто опасно. Именно в результате этого упущения будет сидеть, развалясь, сначала пятилетний, потом

восьмилетний, а потом и шестнадцатилетний. «И когда ему в вагоне чужие люди делают замечание, он смотрит на них с удивлением: это кажется ему какой-то дикостью, каким-то старомодным *предрассудком*». Написанные чуть ли не двадцать лет назад, размышления писателя актуальны, увы, и сегодня!

Так же как и рассуждения о «спасибо» и «пожалуйста». Обращаясь к правилам своего дома, писатель спрашивает: «Не пересаливаем ли мы с этими «спасибо» и пожалуйста»?.. Говорят: «Не в этом счастье». Вообще-то верно — не в этом. Но отчасти и в этом. Смотря как понимать это счастье». Можно ли забывать о том, как ранит, обижает, мешает жить грубость и, напротив, как украшает жизнь любезность, отзывчивость, дружелюбие. «Мудрость, казалось бы, не велика, а как мало считаются у нас с этим добры законом, как не хватает нашей молодежи этих «внешних форм»!»

Писатель приводит пример:

«Телефонный звонок. Снимаю трубку:

— Я вас слушаю.

Молодой повелительный голос:

— Галю!

Отвечаю как можно мягче и любезнее.

— Простите, вы не туда попали.

И чаще всего в ответ:

— А, черт!..

И скрежет брошенной на рычаг трубки.

Через день, через два или в тот же день попозже — уже другой голос, но опять молодой и опять повелительный:

— Марину позовите!

— Такой у нас, простите, нет.

— Как нет? А, ч-черт!..

Зато как приятно бывает услышать в ответ:

— Ах, простите!..

Или

— Извините, пожалуйста!..

Редко, но бывает».

Воспитывать человека! Пантелеев думает об этом постоянно, делится своими размышлениями, наблюдениями, выводами. И обобщает многое из своего большого опыта в ярких и острых публицистических статьях. Статьи Пантелеева имеют прямое назначение и объединены точным названием «Разговор с читателем».

Ежедневная почта Л. Пантелеева велика. К нему обращаются разные люди — писатели, ученые, родители, ребята.

Удовлетворяя любознательность читателя, он рассказывает о

своей юности, о судьбе товарищей по Шкиде, о незабываемом шкидском президенте Викниксоре, о своей работе.

Большинство статей вызвано живым конкретным поводом, событием, взволновавшим его газетным выступлением, чаще всего — письмом с вопросами: от него ждут совета, указания, помощи.

Вопросы разные. Вот, например, ученица 8-го класса Марина Б. признается, что ей неинтересно читать книги, она их просто никогда не дочитывает. Как ей быть? Как полюбить литературу, чтение, книгу?

Писатель дает Марине советы, указания, составляет для нее буквально программу чтения, которая поможет ей уже самой ориентироваться в «том огромном безбрежном океане, который называется «Мировая литература». Но прежде всего, его интересует сама Марина, истоки ее беды.

«Очень хотел бы понять, разобраться, что же происходит с тобой.

Бывают, ты знаешь, такие случаи, когда человек почему-либо теряет аппетит. Он с завистью смотрит, как другие уплетают за обе щеки черный хлеб, огурцы, мятый картофель… а сам отворачивается от самой вкусной, самой изысканной пищи..»

Естественно, речь идет о нездоровом человеке. То, что происходит с Мариной, для писателя тоже болезнь, только другого рода:

«Мне кажется, что у таких, как ты, Мариночка, утрачен аппетит духовный. Но, к счастью, у тебя он утрачен не совсем. И воля к выздоровлению у тебя не потеряна — это самое главное. Ведь ты просишь совета, просишь помочь тебе — значит, дело не безнадежное, а вполне поправимое».

Тем более принципиален писатель, когда вопросы касаются взаимоотношений с товарищем, с классом, когда речь идет о таких понятиях, как честь, порядочность, честность.

Где и как найти ориентир, верно ли ты поступаешь или нет? В вопросах морали, нравственности для Пантелеева нет мелочей, все здесь существенно, все важно: в представлении писателя мирная жизнь тоже всегда бой. Здесь тоже на каждом шагу требуются от человека те же качества, что и на войне: и мужество, и отвага, и честность, и стойкость, и милосердие.

Поэтому самое страшное для него «приблизительность», «относительность» этических требований, готовность пойти на компромисс — все то, чем характеризуется для писателя моральная полуграмотность, или, как он пишет, «нижесредняя нравственная культура». Его усилия направлены на то, чтобы юный человек мог подняться на высоту подлинной моральной

культуры, где не прощаются даже малейшая неточность и небрежность, ибо маленькая ошибка часто влечет за собой и большую.

Вот, казалось бы, самый безобидный пример: в небольшой пионерской газете «уголок смекалки» предлагает ребятам решить задачку, угадать, как в числовом отношении должно распределиться вознаграждение между мальчиками, оказавшими помощь своему товарищу. Казалось бы, задачка как задачка. Но Пантелеев обращает внимание на самую суть условия и за хитроумной математической проблемой видит совсем другую — моральную. Ведь, по условию задачи, ребята должны не только получить вознаграждение за помощь товарищу, но еще и разделить его в соответствии с тем, кто сколько помог. «Знаю, что найдутся люди, — пишет он, — которые скажут: «Ерунда! Стоит ли придираться к арифметической задаче!» Но разве можно, возражает он, решать задачу, безнравственную по своему условию?

Есть у Пантелеева статья под названием «о милосердии». В ней он обобщает многие свои тревожные мысли, вызванные бессердечием подростков, бездумным мучительством животных, жестокостью сильных ребят по отношению к более слабым, особенно к людям неполноценным, страдающим природными недостатками.

Разговор в этой статье идее по конкретному поводу. Ребята оставили своего товарища без внимания в больнице, и письмо удрученной матери, обращенное в редакцию одной из газет, не просто волнует писателя.

«…Первое, что вспыхивает в тебе и обжигает тебя… это гнев. Гнев на тех школьников, мальчиков и девочек, которые позволили себе бросить в беде товарища».

Статья написана так, что ее читатели, конечно, должны будут войти в положение покинутого и проникнуться такими чувствами как одиночество, заброшенность, тоска, с одной стороны, сострадание к чужой беде, чужой горести — с другой. Писателю важно, чтобы люди поняли: даже если (предположительно) их товарищ был не самым любимым в коллективе, все равно надо проявлять человечность, милосердие. Вызывают внимание, заставляют вслушиваться слова писателя:

«…Где, в каких заповедях сказано, что помогать надо только хорошим?

Как вам кажется, могла бы кончиться победой Великая Отечественная война, если бы наши солдаты в бою, в атаке оглядывались на соседа и думали: а стоит ли поддерживать его, хороший ли он, не хуже ли он меня? Или медицинская сестра,

прежде чем перевязать раненого, стала бы выяснять: симпатичный ли он человек, заслуживает ли он ее забот и милосердия?»

А.И. Пантелеев, 1964.

Читая эту статью, каждый поймет, как важно, чтобы такие слова, как «товарищество», «коллектив», «честь коллектива», не употреблялись бездумно, не превращались в простой набор звуков, а были наполнены истинно человеческим содержанием.

Предлагая задуматься над такими понятиями, как добро и зло. Пантелеев обращается к читателю с вопросом: знакома ли ему *радость доброго поступка*? Он вступает в спор с неумными, нечуткими людьми, которые излишним шумом, преувеличенными похвалами лишают человека верных критериев в оценке, что есть норма человеческого поведения; когда естественный поступок преподносится чуть лине как героический.

Писатель приводит в пример газетную заметку о пионере, который, найдя в развалинах дома запаянную коробку с награбленными фашистами драгоценностями, передал найденный клад в фонд обороны страны. Статья в газете, сообщавшая об этом событии, расценила поступок мальчика как незабываемый для советского народа патриотический подвиг, а в

нем самом увидела героя. Нет, для писателя то, что пионер не уподобился фашисту и не украл найденные драгоценности, отнюдь не подвиг, а естественный человеческий поступок. Поступок добрый, хороший, который по праву мог доставить самому мальчику огромную радость.

«Что вы знаете хуже трусости?» — с таким вопросом Л. Пантелеев обратился через газету к читателям. Из многочисленных ответов выяснилось: с трусостью в сознании людей связаны ложь, предательство, равнодушие, угодничество, лицемерие… Вместе с ответами предлагались и советы, рецепты…

«Трусость надо побеждать прежде всего *в себе*. И начинать надо с мелочей.

Ведь страшно бывает не только под бомбами… Иногда человек боится самых простых и самых, казалось бы, нестрашных вещей».

Писатель приводит в пример историю с тремя подружками: обгоняя старую, сильно хромавшую женщину, две из них прыснули, засмеялась. Следом за ними, покраснев, засмеялась их подруга.

«Девочку эту я хорошо знаю: она добрая, умная, и, как мне казалось, совсем не трусиха.

Позже я спросил у нее:

— Почему ты засмеялась?

Она покраснела еще больше, и тут я вдруг понял, что смеялась она просто «за компанию» — не решилась, постеснялась не только остановить своих подружек, сказать им, что нехорошо недостойно, глупо и гадко смеяться над увечным человеком, но и просто побоялась прослыть в их глазах паинькой, белой вороной…»

За этим примером следуют и другие, когда причиной небрежного, невежливого, а часто и грубого поведения подростка является совсем не то, что взрослые деликатно называют «стеснительностью». На самом деле здесь просто трусость. Как бы через голову этих взрослых писатель обращается прямо, непосредственно к юному человеку, убежденно и горячо его агитирует: «победи в себе эту дурацкую стеснительность, эту смешную маленькую трусость — и вот ты уже выиграл первую битву! Не бойся пойти «наперекор течению», не бойся, что над тобой будут смеяться. Посмеются и перестанут. А сильных, принципиальных людей, готовых драться за свои убеждения, всегда и повсюду, во все времена и во всех коллективах уважали и уважают».

Казалось, в письмах читателей было перечислено все самое

страшное, что соотносилось с понятием «трусость». Но вот писатель получил письмо еще от одной школьницы. «Хуже трусости, — пишет она, — отсутствие какой-либо совести». Слова девочки, признается Пантелеев, буквально потрясли его.

«Как верно, как метко это сказано, как точно поставила девочка все на свои места.

Ведь и правда: что толку в смелости, в бесстрашии, в беззаветной храбрости, если за ними не стоит *совесть*?! Разве не было храбрецов среди гитлеровцев, эсесовцев, власовцев?..

Честность, идейность, принципиальность — вот главное, что должны мы ценить в человеке. Такой человек не может быть и никогда не будет трусом».

Писателя бесконечно радует каждое проявление благородства, душевной чистоты, доверчивости. На одной из страниц «Записных книжек» конца 1947 года есть переписанная Пантелеевым из «Ленинградской правды» заметка о двух мальчиках, впервые приехавших в Ленинград. Отправившись осматривать город, они оставили свои вещи в подъезде одного дома, не зная, сколько тревоги они причинят постовому милиционеру. Но не только тревоги: «Не знали эти милый, чистые деревенские мальчики из далекой Кировской области, сколько радости доставили они — уверен в этом многим, читавшим газету».

«Люблю ребят-рыцарей», — признается он в другой газетной заметке, и всякий пример заступничества за младшего или слабого, каждый пример человечности, доброты — для него праздник.

Как-то я спросила у Алексея Ивановича: что он хотел бы пожелать молодым читателям? Он ответил мне девизом доктора газа, словами, высеченными на памятнике этого прекрасного человека: «Спешите делать добро!»

Глава 10
Открытый мир писателя

Что знается, то и скажется.

Русская пословица

Где-то во мне сидит очень чувствительная мембрана.

Л. Пантелеев. «Из старых записных книжек»

Вообще-то я, что называется, не брезговал никакой работой, — говорил Алексей Иванович. — После демобилизации, в сорок четвертом — сорок седьмом годах, работая в должности литературного редактора в журнале «Дружные ребята», я вел (и занимался этим с увлечением) отдел «Золотой ключик» (ребусы, кроссворды и прочее).

В жизни мне приходилось писать: подписи под картинками; стихотворные фельетоны; критические статьи; рецензии; анекдоты (журнальные мелочи); пьесы; раешники; киносценарии; кадропланы; рассказы; очерки; водевили…» К этому надо прибавить повести, книгу для родителей — всего не перечислить.

Алексей Иванович не часто выходит на люди. Его можно увидеть на съезде или совещании писателей, на вечере воспоминаний…

Но как всегда, он живет напряженной жизнью писателя. Рабочий день его переходит далеко за полночь. Он много и тщательно трудится над новыми книгами, с интересом следит за выходящей литературой. Как и раньше, как всегда, он строго и взыскательно относится к тому, что делает сам, и к работе товарищей по цеху.

Свою последнюю книгу Л. Пантелеев назвал «Приоткрытая дверь…». Она представляется своеобразным итогом напряженной писательской жизни за многие десятилетия.

В предисловии к книге он размышляет об особенностях писательского труда, и своего в частности.

«…Все, — пишет он, — что мне в моей литературной жизни более или мене удавалось основано, как правило, на моих личных наблюдениях и переживаниях… <…> …В основе всякого стоящего сюжета каждый раз лежало нечто подлинное, испытанное, пережитое…»

Вместе с тем рядом с этой склонностью «к самовыражению», к самовыявлению, к автобиографичности» он указывает на другое, не менее важное и присущее его произведениям начало, то, что Гете называл «Lust zu fabulieren»[10]. На примерах нескольких своих повестей и рассказов писатель объясняет, каким путем достигалось это сложное сочетание факта и вымысла, какую роль в процессе работы — даже тогда, когда он опирался на собственный жизненный опыт, — играла сила воображения.

А.И. Пантелеев, 1967.

«А вообще-то должен сознаться, — пишет он в том же предисловии, — что чем дальше, тем больше тянет меня на *чистую правду*». Тянет писать так, чтобы не было «ни на копейку вымыла». Развивая эту мысль подробнее в газетном интервью «Перечитывая давние записи», Пантелеев ссылается на Л. Толстого, считавшего, «что можно сделать правду столь же, даже более занимательной, чем вымысел».

«Приоткрытая дверь…» и является той книгой, которая отражает новый подход писателя к жизненному материалу и к художественному его выражению. Ни в одном произведении, напечатанном здесь, нет «ни на копейку вымысла». Все основано на «чистой правде».

Первыми в оглавлении стоят «Рассказы из книги «Дом у Египетского моста», их мы рассматривали в самом начале.

Второй раздел составляют «Рассказы и очерки»: в него вошли воспоминания о людях, с которыми писатель либо дружил долгие годы, либо был связан работой в литературе; рассказы о поездках за границу и о других примечательных событиях.

Один из очерков — «Гостиница Лондонская» — о пребывании писателя в Одессе в 30-е годы кончается такими словами:

«Сколько же с той поры времени прошло! И скольких не стало — из тех, кого я упомянул на предыдущих страницах! Нет Эльзы Юрьевны, нет Маршака, Чуковского, Ильина, Кассиля… Нет Леона Муссинака. Нет Елены Ильиной, и нет той девочки, подвиг которой она воспела. Ушел Ю. К. Олеша, и много ушло, наверно, за ним его учеников и последователей… Не знаю, что с Жаном, с Идой. Где Мизу? Ведь если она, дай бог, жива, она уже немолодая женщина!

— Не скучаете за Лондонской»? — спросил меня когда-то молодой интеллигентный одессит.

А ведь скучаю, скучаю, Михаил Григорьевич, даже сегодня, сейчас вот в эту минуту ужасно скучаю за «Лондонской»…»

Читая эту страницу, чувствуешь, какая огромная часть жизни стоит за этими грустными строками. А какой молодостью, озорным весельем, теплом дышит сам этот очерк об Одессе 30-х годов, о дружбе с французским кинорежиссером Жаном Ло, о встрече с Эльзой Триоле и Луи Арагоном, о работе над сценарием для Одесской кинофабрики «дитячих та юнацьких фільмів», где герой «Пакета» Петр Трофимов должен был разыскивать сына своего друга Зыкова — беспризорника Зыкова-младшего.

Как хорошо, что память и талант исателя помогают ему снова прожить эту жизнь и восстановить для читателя облик ногих замечательных людей, с которыми его свела судьба.

С. Маршак, М. Горький, Е. Шварц, К. Чуковский, Б. Житков, Н. Тырса, Д. Хармс, Л. Квитко — рассказать об этих людях непросто. Очерки, воспоминания, рассказы неоднородны по своему характеру: иногда в основе сюжета лежит один эпизод, иногда воспоминания охватывают многие годы жизни. В любом случае автор стремится передать самое главное и существенное о своем герое.

Всего несколько страниц в рассказе «История одного автографа», но сколько драгоценных впечатлений он приносит! Мы словно видим залитый солнцем кабинет К. И. Чуковского и его хозяина; перелистываем знаменитую «Чукоккалу», где оставляли свои автографы Шаляпин, Горький, Л. Андреев, Блок, Маяковский и другие замечательные люди и где должен оставить

по просьбе хозяина, к полной неожиданности для него, свой автограф двадцатилетний А. И. Пантелеев. Рассказ воссоздает неповторимый облик Корнея Ивановича, с его певучим южнорусским тенором, с его постоянной увлеченностью какой-нибудь идеей, всегда веселого, возбужденного, бесконечно деятельного.

И совсем в другом стиле портрет «вулканически спокойного», сдержанного Б. С. Житкова («Ни на один оборот»). «Необычайна судьба, ослепительно ярок талант, беспредельно широк житейский и творческий диапазон этого человека» — всего три страницы, но все так плотно, предельно экономно в слове и по-настоящему эмоционально изнутри — и возникает облик этого удивительного писателя, путешественника, умельца, который свято верил в то, что «невозможно, чтоб было трудно учиться: надо, чтоб учиться было радостно, трепетно и победно».

Очерк «Маршак в Ленинграде» — одно из лучших произведений Пантелеева — написан человеком, навсегда покоренным могучим обаянием своего старшего друга и учителя. Вместе с тем писатель меньше всего стремился создать некий идеальный его портрет: по словам К. Чуковского, Пантелеев проявил здесь художественное «бесстрашно-правдивое чутье». Читатель найдет в очерке много подробностей, которые не раз вызовут его улыбку, заставят посмеяться над какими-нибудь комическими проявлениями натуры Маршака.

«Неудобно как-то писать, — замечает Пантелеев, — что Маршак был человек непростой. Простых-то, несложных людей вообще не так много. Но он был очень сложен. Он менялся не только на протяжении тех сорока лет, что я знал его, но и на дню мог несколько раз быть то одним, то другим…»

Ограничивая время, которое он рисует 30-ми годами, Пантелеев свободно обращается с материалом; он не соблюдает какой-либо временной или сюжетной последовательности. Память выхватывает отдельные картины: то это рабочий день Маршака, то история их совместной поездки в Москву или Астрахань; это может быть его кабинет и люди, постоянно там бывавшие; или редакционная комната детского отдела Госиздата, с ее неповторимой атмосферой хорошо налаженного оркестра во главе с дирижером — Маршаком.

Внутренняя задача очерка выявляется со всей определенностью: показать, как за внешне разбросанной жизнью шла другая, сосредоточенно-цельная, подчиненная железной дисциплине труда. Вокруг Маршака буквально было столпотворение, он любил суету, телефонные звонки — все это было его стихией. Жить уединенно, только своей работой он не мог, потому что в нем существовал унаследованный от его

учителей. В. В. Стасова и А. М. Горького, «дар открывателя и воспитателя». Потому, вероятно, и люди так тянулись к нему, что он умел в них вслушиваться, понимать их во всей сложности и главную заботу видел в том, чтобы «сердце оставалось мягким и нежным». Пантелеев рисует Маршака в постоянных его поисках, всегда выискивающего незаурядного человека — с тем, чтобы «подать ему руку помощи», «пособить встать на ноги». а и вообще, как пишет Пантелеев, «львиную долю времени Маршака отнимала работа редакционная, работа над чужими рукописями»: каждое новое имя, каждая хорошая книга были для Маршака праздником.

Другой Маршак жил прежде всего в сфере поэзии и «раньше всего был поэтом, художником, мастером». Всей душой, всем своим существом он был предан искусству: «Мне трудно назвать другого художника, который бы так беззаветно и самозабвенно служил своему делу». И хотя, замечает Пантелеев, такие громкие слова не очень-то ложатся к его образу… сейчас сказать по-другому о подвиге его жизни я не могу».

А.И. Пантелеев.

В отличие от многих людей у Маршака не было никакого

увлечения, никакого хобби. Он никогда ничего не коллекционировал, не увлекался никакими играми, не плавал, не ездил на велосипеде, не разводил кактусов — его просто невозможно было бы себе представить за каким-нибудь из этих занятий.

Но была стихия, в которую он окунался с наслаждением и самозабвенно, и как замечательно описывает это автор очерка! Вот они вместе работают, и работают, что называется, до седьмого пота: уже, кажется, ни на что не остается сил.

«И вдруг он бросает на стол перо, откидывается на спинку кресла, крепко, долго и с наслаждением потягивается.

— Отдохнем? А? Окунемся?

Я знаю, о чем он говорит. «Окунуться» или «принять ванну» — значит почитать стихи или спеть песню.

И вот мы пересаживаемся на диван и минут двадцать читаем». Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Бунин, Хлебников, Блок, Некрасов, Фет, Вордсворт, Китс, Блейк. А потом идут песни. Он не записывал их, не вел каталогов. Но в его памяти хранились сотни песен на многих и многих языках мира.

Трудно расставаться с этим очерком, словно расстаешься с Маршаком, словно сам побывал в его кабинете и увидел его заваленный бумагами письменный стол, где все, казалось было в беспорядке и где на самом деле царил абсолютный порядок.

«Черные чернила, твердая рука, черный округлый почерк… почти каждое слово дописано до конца. И почти никаких зачеркиваний, никаких поправок. Каждый вариант строфы пишется от первого до последнего слова заново…»

Словно сам услышал несильный хрипловатый голос, так хорошо, так задушевно, с таким вкусом исполняющий песню. И приблизился к пониманию характера Маршака, и увидел тех людей, которые в таком множестве окружали его.

И в полную меру почувствовал их дружбу — Маршака и автора очерка, бесконечно благодарного за то что был с ним в жизни — так долг, так неизменно — Маршак.

* * *

На долю Пантелеева выпало большое счастье — дружить многие годы с Евгением Львовичем Шварцем.

В воспоминаниях писателя о Шварце («Шварц») тоже нет сюжетной последовательности, пожалуй, здесь можно еще больше говорить о дробности эпизодов, на первый взгляд как будто даже не связанных друг с другом.

Есть в этом очерке своя доминанта, свой лейтмотив: Пантелееву удалось передать внутренний драматизм жизненной и литературной судьбы своего друга. Так сложилось, что долгое время даже самые близкие люди не понимали до конца, недооценивали всю силу его дарования. В Евгении Львовиче видели обладателя великого дара — юмора, редкостного рассказчика и импровизатора, обаятельного человека, принадлежащего к числу тех писателей, которые гораздо лучше говорят, рассказывают, чем пишут.

Даже С. Я. Маршак считал его лишь «милым, остроумным, безукоризненно честным человеком» и не очень верил в его талант. Приводя это мнение Маршака, Пантелеев ищет ему оправдания: действительно, Шварц по-настоящему «стал проявляться очень поздно» и сложившееся отношение к нему по какой-то инерции уже не менялось. Не увидел в Шварце будущего автора «Голого короля», «Дракона», «Обыкновенного чуда» и К. Чуковский. С грустью, с болью признается он — уже после прочтения очерка Пантелеева «Шварц, — что тоже был в числе тех, «кто не угадал в неугомонном остряке и балагуре (с которым встречался одно время почти ежедневно) будущего автора… замечательных сатир и комедий». Воспоминания Пантелеева о Шварце представляются таким же «блестящим достижением искусства», как воспоминания о Маршаке.

Может быть, раньше других увидел Шварца совершенно иначе Пантелеев, «увидел вплотную, заглянул ему поглубже в глаза и понял, что он не просто милый обаятельный человек, не просто добрый малый, а что он человек огромного таланта, человек думающий и страдающий», мастер «в самом высоком, самом прекрасном смысле слова».

Воспоминания Пантелеева и освещены этим проникновенным взглядом. Много значительного узнает читатель о драматурге. Но больше всего удивляют эпизоды, где автор очерка показывает своего друга в работе. Он все время искал себя, «искал свой слог», просиживал часами над каждой страницей, был постоянно, «каждый час и каждую минуту поглощен работой, даже на прогулке, за едой, даже когда шутил и говорил о вещах посторонних». Как трудно, оказывается, давалась ему каждая строка, а ведь так и кажется, что искрометные «Золушка», «тень», «Голый король» писались легко, на одном дыхании.

На страницах этого очерка часто возникает имя Чехова — писателя, который для Шварца был самой большой любовью, хотя, казалось бы, «то, что делал Шварц, было так непохоже, так далеко от чеховских традиций».

Но для автора очерка между этими именами устанавливалась

какая-то особенная связь. Тем и дорог он был бесконечно Пантелееву, что так же, как Чехов, «всю жизнь он воспитывал себя», и о нем можно сказать словами, какие Бунин написал о Чехове: «До самой смерти росла его душа…»

Каким глубоким чувством окрашены эти воспоминания! Но ведь и на самом деле, сколько было сказано друг другу, сколько вариантов — сценария ли «дон Кихота», пьесы «Два клена», сотен страниц мемуаров (или, как шутливо их называл их Пантелеев, «ме») — было выслушано в чтении Шварца! Сколько было хожено вместе по тем дорогам и тропинкам поселка Комарово, где и по сей день автор очерка помнит каждый камень, каждый корень под ногами, каждую сосенку или куст можжевельника.

Есть в очерках общая черта — открытость авторского чувства, проявляющая себя во всем, идет ли речь о благодарности, о любви или о безысходной горечи потери. Он не может забыть Шварца. Нет ни одного дня, когда, случись ему оказаться в знакомых местах, он бы «не встретил на своем пути Евгения Львовича». Нет, разумеется, не о призраках идет речь.

«Я имею в виду, — пишет он, ту могучую, титаническую силу, с какой запечатлелся этот человек в моей (и не только в моей) памяти.

…Вот он возник в снежной дали, идет на меня, высокий, веселый, грузный, в распахнутой шубе, легко опираясь на палку, изящно и даже грациозно откидывая ее слегка в сторону наподобие какого-то вельможи XVII столетия.

Вот он ближе, ближе… Вижу его улыбку, слышу его милый голос, его тяжелое, сиплое дыхание.

И все это обрывается, все это — мираж. Его нет. Впереди только белый снег и черные деревья».

Большим и признательным чувством продиктованы страницы очерка «Рыжее пятно» — о Горьком, как-то Пантелеев спросил у Алексея Максимовича: когда он успевает читать такую уйму книг? «Ну как же… — ответил Горький. — Ведь все-таки хозяином себя чувствуешь». Молодой писатель не сразу понял смысл этого ответа. А потом ему стало ясно: «Горький сказал это так, как и следовало сказать законному наследнику Пушкина, Гоголя и Толстого. Он не был бы Горьким, если бы не понимал своего места и своей миссии в истории русской литературы», если бы «не чувствовал себя в ответе» за каждого советского литератора, «за каждую строку, ими написанную и напечатанную».

В интонации рассказчика звучит высшее уважение. Но рядом с этим прекрасным чувством по мере знакомства с Алексеем Максимовичем, который столько раз бывал дружественным, сердечным, близким, возникает и другое. Он начинает понимать,

что Горький «не только великий писатель, классик, основоположник новой русской литературы, что он еще и чудесный, добрый, тончайшей души человек». И что он любит своего старшего друга, любит «уже не как писателя, не как Максима Горького, а — просто, по-человечески, нежной и преданной сыновней любовью».

Воспоминания Пантелеева проникнуты желанием как можно полнее высветить личность их героев. Автор все время как бы в тени, он лишь слушатель, собеседник, наблюдатель. Но постепенно из этих воспоминаний возникает образ самого повествователя, человека высокой профессиональной и нравственной культуры, всегда прямого и честного в своих суждениях, надежного в отношениях с людьми. И начинаешь понимать, почему, почему дарили его своей дружбой и доверием многие замечательные люди.

* * *

В этом же разделе «Рассказов и очерков» писатель поместил воспоминания-очерки о поездках по своей стране (например, «Гостиница Лондонская»), по зарубежным странам. В 1962 году по приглашению Союза немецких писателей и Магистрата Большой Берлин он посетил ГДР. В последний раз он был там в 1977 году. В 1971 году с группой писателей и с женою Элико Семеновной он совершил поездку в Швейцарию, в 1973 — в Японию.

Впечатления от этих поездок нашли отражение в нескольких рассказах: «Экспериментальный театр», «Рейс № 14–31-19», «Земель», в очерке «От Невского до Курфюрстердамм». С огромным интересом смотрит Л. Пантелеев на памятники мировой культуры, но не меньшее внимание привлекают люди: ему хочется понять, о чем думают, чем живут они сегодня, помнят ли уроки истории, знают ли, какой ценой завоеван мир на земле.

В одном городке Швейцарии его вместе с женой и товарищами по поездке пригласили на спектакль в Экспериментальный театр. Актеры, игравшие на сцене маляров, красили свои объекты самой настоящей краской, и крупные брызги попадали на зрителей. И хотя сидящие в первых рядах автор и его жена оказались в «зоне огня» (это эпизод написан с неповторимым юмором), и хотя они не понимали многого, о чем так горячо говорили на сцене, пьеса взволновала их, вызвала сопереживание с сидящими в зале. Потому что один из героев, старый маляр, говорил об атомной войне, говорил с ужасом, «и становилось и в самом деле страшно. Особенно нам,

ленинградцам, тем, кто перенес войну и блокаду».

А потом началось дружеское застолье, гости и хозяева перезнакомились, обменивались тостами. Все шло хорошо, пока сидящая неподалеку от Элико и автора ведущая актриса театра (которая, как выяснилось, была к тому же и школьной учительницей) не обратилась к ним с вопросом: «Вот вы говорите: «Мы — ленинградцы, мы из Ленинграда». А что это такое — Ленинград? Это — новый город? Нет? А как он назывался прежде?»

А.И. Пантелеев с читателями, 1961.

И хотя название Петербург было ей знакомо и вызвало у нее определенные ассоциации: «Достоевский!.. Раскольникофф!.. Сонья!.. Брюдер Карамазофф!», состояние ошеломленности уже не покидало автора. Против него сидела интеллигентная женщина, актриса, жена человека, который осуществил постановку антивоенной пьесы, «но она ничего, ровным счетом ничего не слышала о нашем городе, о его подвиге и о его трагедии».

Как будто что-то переломилось в сознании рассказчика, и, когда все возвращались узенькими пустынными средневековыми улочками, которые были пусты точно так же, «как были они пусты в это время и триста, и пятьсот, и восемьсот лет назад», ему вдруг показалось, что они «и в самом деле очутились в каком-то ином

времени», и люди, с которыми они шли, тоже «показались… почему-то очень далекими».

Воссоздавая эту историю в рассказе «Экспериментальный театр» (содержание его не ограничивается только этим сюжетом), автор в эпилоге как бы расставляет необходимые акценты. С симпатией думает он о той актрисе, но одновременно остро ощущает разницу между тем, что знает и представляет о мире она, и сто знает и понимает он.

«…Ах, как ясно вижу я и с какой горькой нежностью вспоминаю этот бедный ужин в дешевом подвальном ресторане и эту маленькую швейцарскую женщину, которая тридцать лет прожила на свете и не знала, слыхом не слыхивала, что стоит на земле такой городок — Ленинград».

Какую, однако, власть имеет слово! Напиши Пантелеев вместо «городок» привычное «город» — и все было бы совсем не так. А вот оттого, что нашел и поставил в конце рассказа это уменьшительное «городок», произошло чудо, волшебство: стократ возвеличился, поднялся город в своей силе и красоте.

Рассказ «Земель» отличает точная и выверенная конструкция. Сюжет его держится на двух эпизодах: есть вечер, проведенный героями — автором и его женой — за чаем в гостиничном ресторане Эрфурта, есть первомайское утро, прогулка по праздничным улицам Берлина.

Как раз на этой прогулке и случается происшествие, как будто не такое уж само по себе значительное, но вызвавшее целую бурю в душе писателя.

Первой заметила это Элико:

«— Нет, ты посмотри!!!

Я посмотрел. Паренек лет тринадцати мелкими пасовками… гнал мяч, отыскивая лазейки в узком лабиринте между гуляющими.

— Ты только взгляни, чем они играют! — схватила меня за руку Элико.

Я вгляделся и вдруг услышал, как вся моя кровь с грохотом хлынула в голову».

Вместо мяча «футболист» гонял по грязной мостовой белую булочку — по-немецки «земель».

Охваченный гневным чувством, не помня себя, писатель бросается к парню: «Что ты делаешь?!! Оставь! Сейчас же! Негодяй! Тебе не стыдно? Это же хлеб! Хлеб! Это — хлеб!..»

Гнев этот справедлив и сам по себе, но он особенно понятен, если знать, что разговор с женой накануне был воспоминанием о днях войны, о погибших братьях Элико и о многом другом, пережитом ими. В свою очередь, долгий этот разговор тоже не

был случайным. В гостиничном ресторане за их столом оказался человек, поразивший их своим сытым равнодушием, своей бездуховностью, полным безразличием ко всему, что не касается лично его.

Конечно, совсем по-разному смотрит автор на того случайного соседа (как они его прозвали, Барабека) и на парня, который гонял вместо мяча булочку. Да к тому же парень оказался девочкой, даже «черноволосой девчоночкой». Интонация рассказа становится мягче, в ней появляются более теплые нотки, писатель уже немного посмеивается над собой, представляя, как он выглядел в этой истории.

Но булочка, привезенная в Ленинград, засохшая и окаменевшая, лежит за стеклом его книжного шкафа, лежит как нечто очень памятное «рядом с фотографией… покойной мамы», тоже ленинградской блокадницы.

Находясь в Японии, писатель с тревогой и волнением ждал встречи с Хиросимой. Рейс туда не состоялся, но город этот стал для него словно знакомым, потому что в аэропорту, ожидая вылета в Хиросиму, он свел дружбу с маленькой девочкой-японкой.

В этих рассказах — «Экспериментальный театр», «земель», «Рейс № 14–31 – 19» — перед нами тот же, уже хорошо знакомый нам герой, который сам видит и учит других видеть жизнь, учит человечности, доброте, но если надо, то и непримиримости.

Значительную часть «Приоткрытой двери…» составляет ее последний раздел — «Из старых записных книжек (1924–1947)»; мы часто обращались к материалу этого раздела, но всегда эпизодически, отрывочно, и цельного представления о нем у читателя могло не получиться.

Маша, Элико Семеновна и Алексей Иванович Пантелеевы на даче.

Предваряя небольшим вступлением публикацию «Из старых записных книжек», писатель пытается найти определение работе подобного рода. С удивлением он констатирует, что литературоведение такого определения не дает.

Между тем он убежден: записная книжка литератора — это не только, как замечается в толковом словаре, «маленькая тетрадь для заметок», но еще и литературный жанр. Потому и работы над подготовкой записных книжек — такой же труд, как и подготовка любого произведения литературы к печати.

Читать записные книжки не так просто. Схваченный писателем на лету, «не предугаданный» материал сначала несколько ошеломляет: подряд идут без переходов то поговорка или изречение, то вывеска или надпись на заборе, то заголовок в периферийной газете или бытовая сценка, то острое или певучее слово, детская «лепая нелепица». Неоднороден, конечно, и характер записей — иногда это коротенькая заметка, иногда готовая миниатюра, законченный рассказ или пейзажная зарисовка. Иногда это заготовки к будущей книге, путевые заметки или необходимые для автора размышления о проблемах литературного мастерства, вызванные чтением, скажем, Чехова или Бунина.

Но постепенно ощущение лоскутности материала исчезает, за его пестротой начинает обнаруживаться определенность, может быть, даже какая-то направленность. За пристальным вниманием к разговорной речи, к каждому неординарному словцу или выражению угадывается желание писателя поймать что-то существенное, увидеть, как отражается в языке сознание человека, приобщение его к новой культуре. Стремление наблюдать, узнавать и постигать человека в самых разных проявлениях его сущности ведет автора и в самую гущу базара, вызывает непреходящий интерес к кладбищенским надгробиям, эпитафиям.

Постепенно частности, отдельные эпизоды и наблюдения начинают складываться в целостную своеобразную картину, передающую движение эпохи за несколько десятилетий.

Не только действительность в этих записях предстает в своем движении и изменении. В движении внутренней жизни предстает и сам автор: мы чувствуем, какой отпечаток накладывают на него годы, жизненный опыт. Но что-то главное, существенное остается неизменным.

В одном из писем Маршака к Пантелееву есть замечательные строчки:

«Жизнь безо всего того, что может тронуть сердце, вызвать восторг, умиление или участие, приводит людей в то состояние, в которое впал Плюшкин — когда-то очень добрый и хороший — по свидетельству гоголя — человек».

Как бы ответом на эти слова Маршака могут служить строчки писателя из записных книжек:

Открытие мемориальной доски
на доме, где жил К.И. Чуковский.
Слева направо:
правнук К.И. Чуковского
Коля Чуковский,
внук Е.Б. Чуковский,
А.И. Пантелеев,
Е.О. Путалова. 1983.

«Много я видел горького, и страшного, и жесткого за этот год (запись конца июня 1942 года. — Е.П.). Сердце, казалось бы, должно было очерстветь, охладеть, ожесточиться. Но нет — не черствеет, не теряет способности сжиматься больно».

На этих же страницах рассыпано множество записей, вызванных, казалось бы, случайными встречами с людьми, оставившими, однако, незабываемый след в сердце писателя. Вот, к примеру: автор описывает встречу (в конце 30-х годов) с каким-то прохожим, человеком бездомного вида, с забинтованными ногами, плохо одетым и плохо обутым. После небольшого разговора он спросил:

«— Ты человек благородный?

— Не знаю.

— Гривенник есть?

— Есть.

Дал ему рубль. Он не сразу его взял. Как-то еще пристальнее вгляделся в меня.

— Это зачем?

Отошел на два шага, слегка приподнял мятую фуражечку.

— Шапки ни перед кем не снимал, но — спасибо!

Кивнул и пошел. Потом обернулся и крикнул:

— А ты там не очень гордись. Между прочим, так и надо!..»

Прочитав эту страницу, чувствуешь значительность последних слов, сказанных прохожим: они как бы заключают в себе целую философию.

Поэтому не случайной покажется другая запись, содержащая полный душевной боли вопрос, обращенный к человеку, стесняющемуся своего уродства: «брат мой! За что тебя? За что?..»

В голосе автора можно услышать не только скорбь и сочувствие, но и возмущение, и негодование. Когда он сталкивается с проявлением хамства, наглости, бескультурья, он не побоится употребить слова гневные, хлесткие, бьющие наотмашь:

«У вольера, где недвижно стоит, распластав веером хвост, павлин, этот сказочный *красивейшина*, как нарек его Велимир Хлебников, накрашенная стерва лет 19–20 вцепилась наманикюренными когтями в проволочную сетку, вытаращила глаза и мечтает вслух:

— Убить бы его и повесить над кроватью, вместо коврика! А? Вот красота-то!»

Маленькая, необычайно экспрессивно сделанная зарисовка, — как много она говорит, увы, не в пользу человека!

Огорчение, боль, восторг, радость — все это, ничем не стесненное, живет на страницах «Записок». Десятки примеров: «Зашел в Летний сад. И вот — чудо. Пруд. Лебедь плывет, а рядом бежит серебряный луч. Откуда он?»; «трамвай поехал, поет, а у меня внутри все поет. И все, все, что я вижу, радует». Радует чей-то смех, меняет настроение чей-то звонкий голос.

А через несколько страниц совсем другой тон, другое, скорбное настроение, вызванное известием о смерти старого дачного парикмахера, почти незнакомого человека; и не будут выходить из памяти кроватка и тюфячок, оставшиеся стоять на чердаке ветхого деревянного дома.

«Меня давно уже спрашивают: почему вы такой молодой и седой? Потому и седой, что…»

Фраза обрывается, писатель как бы не дает ответа, однако есть слова, которые могут прозвучать как ответ: «…где-то во мне сидит очень чувствительная мембрана».

Как «очень чувствительная мембрана» отзывается он на чужую печаль и чужую боль и страдание, радуется всему доброму, хорошему. Он пишет о друге юности Грише Белых, о писателях Д. Хармсе, Б. Левине, А. Введенском, о художнике Н. Тырсе, о

многих других, взрослых и маленьких, навсегда затронувших его сердце. Он неизменен в своей сопричастности с миром природы, в особой близости стране Детства, в постоянстве своих связей с ушедшими и живыми.

И в постоянстве служения своему читателю.

«…Где-то во мне сидит очень чувствительная мембрана». Свидетельством тому служат все книги писателя, все его записи, вся его жизнь.

Приоткрытая дверь в мастерскую (статья в журнале Нева)

Статья Евгении Оскаровны Путиловой в литературном журнале «Нева» (Август, 2008)

В своей последней книге «Приоткрытая дверь» Пантелеев размышляет о том, почему исследователи его творчества считают, «будто все мое собрание сочинений — это что-то вроде одного большого автобиографического романа». Для доказательства перечислялись и «Республика Шкид», и «Ленька Пантелеев», и «Наша Маша», и многие рассказы, и литературные портреты («Горький», «Маршак», «Шварц», «Тырса»), и дневники военных лет; к этому нужно добавить и «Приоткрытую дверь». Задаваясь вопросом: «Правы ли критики, считавшие меня автором одной автобиографической темы?», он отвечает, по существу, положительно. Да, все, что в его литературной жизни «более или менее удавалось», основано было, как правило, на его «личных наблюдениях и переживаниях, порой очень глубоко запрятанных в подсознании, ‹…› в основе всякого стоящего сюжета каждый раз лежало нечто подлинное, испытанное, пережитое». Вместе с тем, признается писатель, не в меньшей степени испытывал он то, «что Гёте называл Lust zum fabulieren — радость придумывания (а древние обозначали еще точнее: раздольем выдумки)». И все-таки гораздо важнее было «подлинное, испытанное, пережитое». Но это «подлинное» требовало выражения, определенной формы, и не случайно продолжение мысли писателя: «Другое дело, во что превращалось иногда под твоим пером это пережитое». Пожалуй, в этом и заключается самый интересный, самый важный вопрос, именно потому, что сам жизненный материал, который охватил Пантелеев в своем творчестве, велик и разнообразен.

Интересный ответ содержит уже первая книга «Республика Шкид», написанная двумя бывшими правонарушителями, всего два года назад покинувшими «Школу социально-индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского». Пантелеев не раз вспоминал, как легко, без всяких затруднений написалась эта лихая мальчишеская повесть. Два «сламщика» (так назывались в Шкиде друзья), за спиной которых еще недавно стояли темное прошлое, улица, голод, война, заперлись в крохотной комнатке Гриши Белых, накупили пшена, сахара, махорки, составили план, поделили тридцать две главы поровну и принялись за дело. Казалось, им ничего не надо было придумывать, они едва

успевали записывать то, чем еще была переполнена их душа, и яркие, острые, драматические, а порой и трагические события шкидской жизни ложились на страницы книги. Работа заняла всего два месяца. Но в эти два месяца уже проявились способности авторов к интересным творческим решениям. Не просто так набросали они тридцать две главы, не просто спорили о каждой из написанных, независимо от того, кто был ее автором, ибо сам материал был чрезвычайно непростой. Шкида жила приливами и отливами, взлетами и падениями, и непросто было уловить и передать этот причудливый ритм. Неординарная, подчас неуправляемая жизнь Шкиды вряд ли уложилась бы в какой-нибудь сюжет, и авторы нашли единственную адекватную форму: они выстроили книгу из отдельных глав, как будто даже и не связанных между собой, каждую главу посвятив какому-нибудь одному захватывающему, особенному событию (одни названия чего стоят: «Великий ростовщик», «Кладбищенский рай», «Нат Пинкертон действует», «Роковой обед», «Бисквит из Гамбурга», «Переселение народов», «Монашенка в штанах», «Мокрая идиллия»).

Они нашли и точную форму для построения каждой главы: внутри там все идет как бы по кругу — начало, взлет, кульминация, финал; круг завершается, начинается новая глава о совершенно другом событии. Придумал какой-то шпаргонец издавать свою газету, за ним увлекся другой, третий, и вот уже постепенно начинается газетная лихорадка, дошедшая до того, что шестьдесят шкидцев издают шестьдесят газет: все издатели, ни одного читателя. Но постепенно все входит в свои берега, и Шкида бросается в другое увлечение. Появился неизвестно откуда-то, за столом, паучок Слаенов. Очень быстро опутав всю Шкиду долгами, он не только стал там хлебным королем, но заодно и расколол всю дружную шкидскую семью на тех, кого он роскошно подкармливал, и на тех, кто голодал. И здесь возникает своя кульминация, когда старшие, сытые, должны решить вопрос, кто же они на самом деле, — и эта ситуация разрешается по справедливости. Разрешается и самая буйная ситуация, когда Шкида превращается в государство Улигания, когда «буза» доходит уже до самого апогея и когда с большим трудом Шкиде удается возвратиться в свои берега. Мы привели в пример три совершенно разные, ничем сюжетно не связанные между собой главы, с колоритными героями: Купец, Цыган, Японец, Дзе, Янкель, Ленька Пантелеев. Но вот что самое удивительное: закрывая книгу, мы ощущаем ее цельное сюжетное построение, читателю открывается жизнь Шкиды не в отдельных ее эпизодах, а в ее поступательном движении, в ощущении тех благотворных

перемен, которые произошли и со всей школой, и с каждым ее воспитанником.

Горький назвал повесть молодых авторов «преоригинальной, веселой, жуткой» и как особенную удачу отметил «монументальный» образ заведующего Шкидой Викниксора. «Для меня эта книга — праздник, она подтверждает мою веру в человека, самое удивительное, самое великое, что есть на земле нашей». Горький посмотрел на книгу глазами художника (именно поэтому в двух письмах авторам он указал на многие их промахи). Казалось, как можно было иначе увидеть книгу? Однако одновременно с этим взглядом появился совсем другой. Критика педагогическая оценила повесть как документальную и дала жесткую оценку и методу воспитания в Шкиде, и деятельности не справившегося со своими профессиональными задачами ее заведующего. Замелькали слова «воскресшая бурса» (Н. К. Крупская), «факты давят на авторов, явления не типизированы» (Д. Тальников) и позднее как вывод: книга есть «добросовестно нарисованная картина педагогической неудачи», констатирующая полное бессилие заведующего школы «перед небольшой группой сравнительно легких и способных ребят» (А. С. Макаренко).

Так авторы впервые столкнулись с проблемой «правды и вымысла». Обвинения, касающиеся чисто педагогических вопросов работы с трудными детьми, нападки в адрес заведующего школой ошеломили их, и они посчитали, что «общественные интересы обязывают их высказаться». В примечаниях к пятому изданию «Республики Шкид» (1931) они подтверждают: да, они «не ходили за правдой и не фотографировали ее врасплох», они и не помышляли ни о каком документе, а создавали художественное произведение и никогда не думали, что к их книге «приклеят марку документа». За книгу дважды заступался и сам заведующий школой Виктор Николаевич Сорока-Росинский. Он тоже посмотрел на книгу взглядом художническим и заметил, что авторы «вовсе не претендовали на роль летописцев школы имени Достоевского» и смело соединили «факты с вымыслом и прозаическую действительность с поэтической фантазией» (1927). Уже много лет спустя в неоконченной рукописи «Школа имени Достоевского», внимательно прочитав все отзывы, вплоть до статьи А. С. Макаренко «Детство и литература (1937), он меньше всего упрекает авторов повести за нападки на его работу. Шаг за шагом рассматривая жизнь школы и свою работу в ней, он понимает, что молодым литераторам «не так легко было прощупать педагогические принципы школы» сквозь «одеяния

художественного вымысла». Он прекрасно понимает, что авторы Шкиды «ни в какой мере не могли, да и не стремились нарисовать объективную картину жизни школы»: у них были «свои художественные задачи». Он снова повторяет свое положительное отношение к повести.

На обложке книги стояли два имени: Гр. Белых и Л. Пантелеев. Книга пользовалась неслыханным спросом, и вплоть до 1936 года, когда был репрессирован Григорий Георгиевич Белых, ежегодно переиздавалась. Откуда, почему возникло сначала прозвище Ленька Пантелеев в Шкиде, а потом на все последующие годы литературной работы писателя псевдоним Л. Пантелеев? Таков был порядок в Шкиде, что каждый новоприбылой получал прозвище: зоркий глаз беспризорника выхватывал какую-то особенность его внешности или поведения. Когда на втором году жизни Шкиды туда привели новичка по имени Алеша Еремеев, имя знаменитого налетчика, вора и рецидивиста 1920-х годов Леньки Пантелеева было хорошо известно в Питере. Особенным восхищением пользовалось оно у беспризорного мира, ибо действия налетчика отличались особой дерзостью, и еще он имел привычку небольшую сумму отправлять в какое-нибудь учебное заведение, расписавшись: «С почтением к наукам». В первый же день пребывания в Шкиде Алеша Еремеев так славно, с точки зрения ребят, отличился, что за ним сразу же закрепилась кличка Ленька Пантелеев, да, вероятно, не столь уж важен был этот день, сколько история того, как и почему он оказался в Шкиде.

Алексей Иванович Еремеев родился в Петербурге 22 августа 1908 года в доме № 140 по Фонтанке, у Египетского моста. Детство его прошло в состоятельной семье, с боннами, нянькой, гувернантками, горничной. И, однако, его детские годы никак нельзя было назвать «золотыми». В лучшей, первой, главе повести «Ленька Пантелеев», посвященной детству (эту главу можно было бы издавать отдельной книгой), он передал ощущение трудной, подчас непереносимой атмосферы в доме, постоянных ссор между отцом и матерью. Уж слишком различны были эти два человека. Иван Афанасьевич (в повести Иван Адрианович) происходил из старинной старообрядческой торговой семьи, отличавшейся суровыми законами, и сам был человеком тяжелого, деспотического характера, а в пьяном виде был и вовсе несносен.

Мать, Александра Васильевна (в повести Александра Сергеевна), тоже выросла в купеческой семье, но дом был веселый, шумный, оживленный, полный народа. Добрая, веселая, с легким характером, знавшая музыку, любившая писать письма, она вошла в совершенно чужую для нее среду, и жизнь

повернулась к ней тяжелой неприглядной стороной. И, однако, читая эту первую главу, понимаешь, почему Ленька так любил своего отнюдь не ласкового отца. Еще в детстве он угадал в отце человека высшей честности и порядочности, человека, способного на великодушные и щедрые поступки. К тому же в детстве узнал он из чьих-то рассказов о героическом поступке отца (отец не только никогда об этом не говорил, но пришел в ярость, когда увидел в руках у сына журнал, со страниц которого и глядел на мальчика его юный отец в военной форме). Дело было задолго до появления Леши на свет. В 1904 году против воли родителей Иван Афанасьевич стал служить в армии. Во время русско-японской войны молодой хорунжий выполнил нелегкое поручение и, раненый, обливаясь кровью, доставил пакет по назначению. Был отмечен: получил личное дворянство и орден Владимира с мечами. Мог сделать и карьеру, но подал в отставку и вернулся к тому делу, которым занимался, — к торговле лесом, но и этого дела тоже не любил. Фигура отца, его характер, его поведение будут постоянно беспокоить и интересовать писателя, хотя отец исчез из его жизни, когда Алеше было лет семь-восемь. То воображение мальчика поразит эпизод, когда отец в порыве безоглядной щедрости сбросит свою новенькую бекешу на плечи бродяги и пьяницы; то, обмирая от ужаса, будет он свидетелем того, как в ресторане, куда отец взял Леньку, отец не только не встал после того, как молодой офицер предложил всем встать и выпить за здоровье государя императора, но, напротив, еще демонстративно поставил свой бокал на стол. Всего несколько слов произносит Иван Афанасьевич в рассказе «Собственная дача» (из книги «Дом у Египетского моста»), но какие! Весь дом, особенно дедушка (отчим отца), потрясен тем, что на летней прогулке с нянькой им навстречу ехал открытый экипаж, в котором находились августейшие особы, и на коленях одной из сестер сидел цесаревич Алексей, встречей с которым давно уже бредил мальчик. И — о, радость, о, восторг, мало того, что поставленный на колени Алеша отдает честь своему тезке, но и тот, заметив верноподданническое приветствие, изящным движением тоже «*отдал честь*» мальчику. Сколько восторгов, сколько сладких чувств, какие немыслимые мечты вызвало это событие у всех, пока не приехал отец и не охладил все восторги: выслушав рассказ без большого интереса, похмыкал, усмехнулся и сказал: «Честь можно было бы отдать и не вставая на колени». И еще один урок, когда Алеша, отправляясь с мамой в Гостиный двор, был потрясен видом стоящего у ворот маленького офицера с Георгиевским крестом и с восторгом смотрел на этого уже успевшего отличиться «героя», в ладную фуражку которого

сердобольные барыни бросали и бросали серебро. Какое страшное потрясение испытывает Алеша, когда отец с презрением называет этого «героя» стрелком и дает сыну урок чести, урок, запомнившийся на всю жизнь.

А жизнь круто сразу же изменилась, когда в 1918 году мама (ей посвящены необычайно теплые страницы в повести «Ленька Пантелеев») с тремя детьми уехала из голодного Питера сначала в Ярославль, к бывшей няньке, чтобы подкормиться. С этого времени закрутилась, пошла неровными путями жизнь Алеши. Он потерял семью, сначала возникла какая-то ферма, где не было никакой еды и ее заведующий давал детям уроки воровства. А потом пошло одно за другим, и Алеша Еремеев пополнил собой те бесчисленные стаи беспризорных, которые бродили по дорогам России, добывая себе пищу и ночлег самыми изощренными способами. Как-то я спросила у Алексея Ивановича, залезал ли он в чужой карман. «Нет, — ответил он, — аристократическое воспитание не позволяло. А в остальном, что ж… И в детских домах побывал, и за решеткой случалось находиться, и в отделениях милиции отсиживался. А потом по путевке попал в Шкиду». В связи с повестью «Ленька Пантелеев» опять чрезвычайно интересно обратиться к проблеме «правды и вымысла». Сначала не было вовсе никакой повести, а была написанная в 1939 году для Детгиза небольшая автобиография. После войны, в 1951 году, писатель снова вернулся к «Леньке», работал над повестью много лет и создал большое полотно, где описал события, наиважнейшие для страны и лично для него, начиная с 1918-го и кончая 1921 годом, когда он снова вернулся домой. «Ленька Пантелеев» — самая большая повесть писателя, на ее страницах возникают многие десятки героев, то лишь промелькнувших, то надолго запомнившихся, необычайные перемены и повороты в судьбе героя. Казалось бы, память и писательское чутье выявляли самое главное, самое существенное, и из этого главного должны были бы и возникнуть и жизнь страны, конечно, увиденная лишь глазами подростка, и история его трудного пути. Они возникли. И все-таки не случайно сам автор был недоволен этой книгой, вероятно, потому, что на автора повести давило время, что-то приходилось недоговаривать, а что-то и прибавлять. Позднее Алексей Иванович признавался, что теперь бы написал в этой книге многое иначе[11].

По собственному признанию писателя, он учился примерно в пятнадцати или шестнадцати учебных заведениях, но ни одно из них не окончил. С самого детства он много и запойно читал, читал все подряд, что попадалось под руку. Настоящая школа

началась после Шкиды, когда он попал к Маршаку. В блестящих очерках «Маршак» и «Шварц», написанных уже после смерти самых близких его друзей, он многое рассказал не только о них, но и о себе. В очерке «Маршак» проявилось в полной мере сочетание портрета его учителя и старшего друга и своей включенности в этот портрет. Казалось бы, общаясь с Маршаком какие-то годы чуть ли не ежедневно, участвуя с ним в далеких и близких поездках и потрясенный могучим талантом и необыкновенной личностью этого человека, он мог бы написать, глядя на все влюбленными глазами, тем более что повествование ограничено двадцатыми — тридцатыми годами, когда у Маршака еще не было ни дачи, ни машины, ни орденов и когда Софья Михайловна, зная его рассеянность, напоминала ему, куда она положила ему деньги на билет на трамвай. Рядом с художником, который так беззаветно и самозабвенно служил своему делу, возникает под пером Пантелеева и другой человек, о котором он пишет с юмором, с удовольствием, о промахах и незадачах своего друга, настроение которого могло меняться то так, то эдак. Возникает портрет человека, одаренного способностью к колоссальной духовной работе, человека неправдоподобных знаний и работоспособности, — но в различных проявлениях его характера. И отнюдь не только Маршака раскрывает автор в этом портрете, но еще больше самого себя. Он прекрасно понимал, что до встречи с Маршаком у него не было никакого систематического образования: сегодня он читал, скажем, Апухтина, а назавтра сонеты Петрарки, а потом подряд Джека Лондона и Мережковского. Теперь он начал проходить свой первый университет. Маршак открыл ему по-настоящему русскую, мировую и народную поэзию, открыл так, «будто он снял со всего этого какой-то колпак, какой-то тесный футляр, и вот засверкало, зазвучало, задышало и заговорило то, что до сих пор было для меня лишь черными печатными строчками». Далеко не просто давался молодому человеку этот университет, далеко не все понимал он из вдохновенных объяснений Маршаком каждой поэтической строчки, но он слушал, мычал что-то, кивал головой «и постепенно набирался уму-разуму». Маршак ввел Пантелеева в круг замечательных писателей, художников, музыкантов. Так из этого очерка вырисовывается не только мастерски нарисованный портрет Маршака, но не в меньшей мере огромная часть биографии Пантелеева, и сам очерк, по существу, становится автобиографическим, охватывающим жизнь писателя за достаточно значительный период.

В 1931 году несколько ленинградских писателей задумали издание детского альманаха. М. Зощенко предложил, чтобы в

книге были собраны рассказы о героях[12]. Пантелеев тоже дал согласие написать рассказ на предложенную тему, но поначалу и понятия не имел, о чем он будет писать. А в результате получился один из лучших его рассказов «Пакет». Долгое время он не знал, как, откуда сложился, возник у него сюжет о красноармейце Пете Трофимове и его комической и одновременно драматической истории с доставкой пакета в штаб. И только через двадцать пять лет он понял, откуда возник у него сюжет этого рассказа и открывает этот, по существу, феномен в книге «Приоткрытая дверь». Он делится воспоминанием о том, что первый воинский подвиг, о котором он узнал в своей жизни, был подвиг его отца. И мы, знакомясь с биографией Ивана Афанасьевича Еремеева, из короткого сообщения о нем имеем представление о подвиге молодого хорунжего. Теперь Пантелеев пишет об этом намного подробней: как молодого казачьего офицера послали с важным донесением в штаб русского командования, как по дороге напал на него японский кавалерийский разъезд и как он, раненный навылет в грудь, отбился от неприятеля и, обливаясь кровью, вовремя доставил пакет, куда требовалось. Позже, «когда отец лежал в полевом лазарете, адъютант генерала Куропаткина привез ему боевой орден — крест св. Владимира. Было это на Пасху 1904 года». Писатель не сомневается: «именно эту, кровно близкую историю незаметно подсунула мне моя память», а ведь тогда, в 1932 году, думал, что пишет «из себя». И вместе с тем с удивлением он думает о том, как «вольно и бесцеремонно разделалось мое воображение с фактами жизни». Да уж русско-японская война превратилась в гражданскую, хорунжий сибирского полка — в рядового бойца буденновской Конной армии, Владимирский крест с мечами и бантами — в орден Боевого Красного Знамени и т. д. И Пантелеев заключает: «… сознательно я не решился бы так поступить, это казалось бы мне кощунством — и по отношению к отцу, и по отношению к герою». Так причудливо переплелась в творческом воображении писателя «кровно близкая» история его отца с событиями совершенно другой эпохи, с другими людьми. Думается: к отцу у него всегда было особое отношение, и подвиг отца навсегда вошел в плоть и кровь его воображения, с самого раннего детства, и искал выхода. Под пером Пантелеева возникает совсем иной образ, потому что, бессознательно взяв за основу оставшийся в его памяти сюжетный мотив, он вынужден был поместить его совсем в другой контекст.

Некоторыми сюжетными и стилистическими особенностями «Пакет» напоминает сказку об этаком красноармейском Иванушке-дурачке и о его встрече с врагами, которые, как во всякой сказке, изображаются столь же глупыми, сколь и

жестокими, и наружность у них на человеческую не похожа. Смешно смотреть на их испуг, когда им кажется, что Петя вместе с пакетом и язык свой проглотил — ведь как им от генерала попадет! В «Пакете» комическое служит выражению своеобразного мышления героя. И это его качество органично проявляется в языке Пети Трофимова: его фразеология, лексика становится той первоосновой, на которой строятся его характер и облик. В детстве Петя был пастухом, потом работал в городе плотником, потом его взяли во флот, потом он стал участником революции. Ну, а где-то уж совсем позже его учили читать и писать. Петя неграмотный, но за свои двадцать четыре года он успел нахвататься разных слов и понятий, в результате чего образовалась, как писал Чуковский, «речевая нескладица», отражающая и ранний этап «речевого развития масс». Чаще всего Петя говорит грубоватым языком, где перепутались городская и деревенская лексика, любит ввернуть к месту и не к месту замысловатое словечко: «Ты, — говорю, — Гоголь-моголь!» Знакомя Буденного со своим товарищем, Трофимов старается придать своим словам самую элегантную форму: «Товарищ Буденный! — говорит он. — Позвольте вам познакомить моего лучшего друга». Нужно уничтожить пакет, и Петя размышляет: «…все-таки ведь бумага — не ситник. И не какое-нибудь блеманже». Душевная чистота Пети Трофимова, его готовность любой ценой выполнить задание, да и самый ход сюжета, где красноармеец дважды попадает то в свой лагерь, то в чужой и оба раза ему угрожает смерть — в сочетании с простонародной живописной речью, невольно вызывающей веселый смех, — все это позволило К. Чуковскому обнаружить в этой повести главную особенность мастерства писателя — «мускулатуру таланта».

В той же «Приоткрытой двери» Пантелеев делится историей еще нескольких своих рассказов. Зимой 1941 года редактор журнала «Костер» попросил его написать рассказ «на моральную тему» и добавил: «О честности. О честном слове». И вот, вспоминает он, по пути домой стало что-то мерещиться: широкий купол Покровской церкви в петербургской Коломне, садик за этой церковью. Там однажды, когда еще гулял он с нянькой, подбежали к нему мальчики старше него и предложили играть с ними в войну. А его поставили часовым, взяв с него честное слово. Этот случай Пантелеев приводит как самый простой, когда надо было лишь переменить время, себя сделать не участником, а свидетелем события, но найти такой поворот, чтобы придать этому рассказу серьезное, жизненно важное звучание. А между тем о рассказе много спорили: не дурак ли мальчишка? Чего он зря стоял? Его обманули, а он, выходит, глупее этих, которые и

старше его, а теперь еще и смеются над ним? Актуальность этого рассказа для писателя несомненна.

Еще одна автобиографическая история, вызвавшая к жизни замечательный рассказ. У писателя появилась племянница Иринка, но так как и маму ее звали Ирина, дядюшка вздумал дать ей другое имя — Людоед: в одном из рассказов Зощенко одна молодая мама стала так звать свою маленькую дочку. К странному имени в доме вроде даже привыкли, но в памяти остался экспромт, подаренный Иринушке:

На Грибоедовском канале
Жила особа юных лет,
Ее родные называли
Ужасной кличкой Людоед.
Хотел я к ней приехать в гости.
Боюсь я только одного:
Что от меня оставят кости,
Очки — и больше ничего.

И вот эта Иринушка-Людоед однажды прочитала вместо «яблоко» — «тыблоко». Эта маленькая случайность стала поводом для рассказа «Буква «ты»», одного из самых сильных произведений, заставляющих задуматься о своеобразии детского сознания, о сложностях постижения родного языка ребенком и о непростой роли учителя в этом важном деле.

С темой «Дети и война» связано несколько автобиографических рассказов и один из самых сильных — «Маринка». Конечно, рассказывая историю своей маленькой приятельницы Маринки, не уезжавшей из блокадного Ленинграда, и историю опасной работы перевозчика Мотьки («На ялике), Пантелеев прибегает к вымыслу, к необходимости выстроить разрозненные факты в полное драматизма повествование. Но сколько любви, сколько благодарности слышится в этих рассказах: получается так, что присутствие детей в этом страшном городе придавало силы взрослым, служило им опорой, спасало от отчаяния. Материалом для этих рассказов послужила собственная жизнь Пантелеева в блокадном Ленинграде, и на этом факте следует остановиться подробнее.

Когда автор этой статьи работал над первой своей книгой о Пантелееве[13], Алексей Иванович рассказал следующее: в 1941 году, перед самой войной, он перенес операцию. Дважды стоял он перед медицинской комиссией, и дважды комиссия не допускала его в армию. Началась обычная жизнь ленинградца: работа в группе самозащиты, дежурства на крыше и по дому. В самом

начале сентября 1941 года он был вызван повесткой в управление милиции. Необъяснимым образом Пантелеев как лицо неблагонадежное подлежал высылке из Ленинграда. Алексей Иванович из Ленинграда не уехал и написал письма — на имя правительства и своим друзьям и старшим собратьям по перу — Маршаку и Фадееву. Он оставался жить в городе тайно, не имея хлебной карточки, о его существовании знали только мать и самые близкие люди. К концу марта, в последней стадии дистрофии, Пантелеев был подобран «скорой помощью» и доставлен в больницу на Каменном острове. 6 июля 1942 года А. А. Фадеев вывез Пантелеева вместе с переводчицей К. М. Жихаревой на самолете в Москву. Его дело было решено положительно. Конечно, за этими скупыми фактами стояли долгие месяцы жизни, но не эти подробности кажутся мне необходимыми для сегодняшнего читателя. До сих пор невозможно примириться с тем, что ни в одной книге, посвященной работе писателей в блокадном Ленинграде[14], этого имени нет. Нет имени Пантелеев даже в прекрасно сделанном справочнике «Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945», а ведь справочник вышел в 1985 году[15]. К этому времени уже существовала книга «Живые памятники»[16], где был опубликован большой дневник писателя «В осажденном городе (Из записных книжек 1941–1944 гг.)». Дневник этот являлся реальным, подлинным свидетельством ежедневного участия Пантелеева в жизни города. Не случайно здесь указание и на 1944 год: в январе 1944-го он был послан в Ленинград как корреспондент. Записи 1941–1942 годов, сделанные где-то на клочке бумаги, на ходу, на морозе (вплоть до его отъезда из города), поражают своей наблюдательностью, умением заметить и выделить главное — и то, что восхищало, и то, что огорчало. Хочется верить, что пока малозамеченная книга «В осажденном городе» займет подобающее ей место в ряду других значительных книг.

В 1966 году вышла, может быть, самая автобиографическая книга Л. Пантелеева — «Наша Маша». К книге было сделано необходимое для читателя предуведомление, сообщающее, что родители новорожденной девочки немолодые, ребенок единственный, достаток выше среднего, опыта воспитания никакого. Пять лет жизни Алексей Иванович вел двойную жизнь: в течение дня он был отцом, поздним вечером становился писателем. И, оценивая работу воспитателя-отца, он понял, что нет более трудного искусства, чем искусство воспитания человека. «Что там романы и повести писать!.. Сколько у меня было рассказов и повестей, которых я не дописал, бросил. А тут — не бросишь. Этот «роман» — умеешь не умеешь, ладится не

ладится, а будешь писать и писать, пока сил хватает, пока сердце не остановится». Пожалуй, при всей взыскательности к своей работе он не проявлял такой требовательности, как к этому «роману», потому что Машка для него чуть ли не с рождения — личность и, как пишет он, «все дело в том (хотел написать: «беда в том», но не знаю, беда ли), что я отношусь к Машке по-настоящему всерьез, и люблю ее, и жалею, и гневаюсь на нее в полную силу, со все пылом сердца, на какой способен». Пять лет растет человек (дневник за пять лет), и сколько здесь веселого, теплого, смешного, радостного, огорчительного, тревожного! И за всеми этими годами неусыпно следит человек в двух лицах: днем он отец, воспитатель, поздно вечером писатель. Да, отнюдь не только писатель, но и человек, обдумывающий каждый сделанный шаг, каждое произошедшее событие. Сколько же, оказывается, было сделано ошибок, сколько размышлений, выходящих далеко за пределы жизни только одной девочки! Сколько вообще на одном примере появляется мыслей и размышлений, общественно значимых и важных для воспитания многих и многих других детей. И поэтому «Наша Маша» не только выходит далеко за пределы автобиографической книги, но становится и своего рода «романом» о воспитании человека.

За чертой, отделяющей один период в творчестве писателя от другого, остается его очерк «Шварц», представляющий одну из лучших страниц в его работе. Так сложилась жизнь Евгения Львовича Шварца, что при жизни его (он умер в 1958 году) многие, лучшие его вещи — «Голый король», «Дракон», многие сценарии, давно начатая работа над воспоминаниями о жизни — лежали в ящике его письменного стола, и никто, по существу, не знал душевной драмы писателя, не верившего в себя и воспринимаемого как автор нескольких пьес и обаятельнейший человек. И, может быть, только Пантелееву он открылся впервые, потому что именно Алексей Иванович, как пишет он сам, «вдруг увидел Шварца вплотную, заглянул ему поглубже в глаза и понял, что он не просто милый, обаятельный человек, не просто добрый малый, а что он человек огромного таланта, человек думающий и страдающий». Сколько было вместе исхожено тропок в Комарове, сколько раз слушал Пантелеев очередные строки из воспоминаний, которым Шварц дал условное название «Ме», сколько откровенного, задушевного было сказано между ними, и с каждым разом Пантелеев все больше и больше убеждался в необычайности таланта своего друга и в его удивительных душевных качествах. Очерк о Шварце вызвал удивление и некоторое раскаяние у так хорошо знавшего его К. Чуковского: одно время начинающий писатель был литературным секретарем

у Корнея Ивановича. Он читал воспоминания Пантелеева «с грустью, так как я был в числе тех, кто не угадал в неугомонном остряке и балагуре будущего автора» замечательных сатир и комедий. Чуковский с благодарностью говорит о том, как сумел Пантелеев проникнуть в тайники этой богатой и скрытой души, выявить те черты, из которых сложился для читателя «трагический образ таланта» этого писателя. Пантелеев вспоминает слова Бунина о Чехове: «До самой смерти росла его душа». Теми же словами он говорит и о Шварце.

Где-то в начале семидесятых годов Пантелеев заговорил о новом повороте в своем творчестве. В небольшом предисловии к книге «Приоткрытая дверь» писатель говорит об этом со всей определенностью. «А вообще-то должен сознаться, что чем дальше, тем больше тянет меня на чистую правду. В чем тут дело — не знаю». Уже не первый год он работает над книгой рассказов о своем раннем детстве. «Там нет ни на копейку вымысла, и вместе с тем это не мемуары, все рассказы цикла подчинены законам жанра», как строго подчинены этим законам все предыдущие его повести и рассказы. Под знаком этого нового отношения к своей литературной работе написан цикл рассказов «Из книги «Дом у Египетского моста»». К циклу примыкают большие разделы «Рассказы и очерки», «Разговор с читателем» и самый большой раздел «Из старых записных книжек». Все это и составляет книгу ««Приоткрытая дверь».

Можно и нужно ли сопоставлять два периода в работе Пантелеева — тот, где он писал, прибегая к вымыслу, и тот, где он перешел на «чистую правду»? Вопрос этот открывает интереснейшую возможность заново посмотреть на творчество писателя, тем более что в книге «Приоткрытая дверь» автор поделился с читателем историей того, откуда и как возникали многие сюжеты его повестей, рассказов, очерков.

Размышляя над ответом на этот вопрос, приходишь к выводу: да нет, не чувствуешь уж такой большой разницы между этими двумя периодами. Ведь многие очерки, путевые заметки он написал еще в тот период, когда в повестях и рассказах он прибегал к необходимому вымыслу, сохраняя при этом главное — художественную правду. И все-таки, когда читаешь цикл «Из книги «Дом у Египетского моста»», ощущаешь это особое чудо писательской памяти, дорогое для писателя внимание к каждой детали, чувствуешь, как дорого писателю пережитое им в раннем детстве. Еще более высвечиваются люди, особенно, мы уже писали об этом, фигура отца, еще больше угадывается то, что потом могло сказаться в последующей жизни. По существу, жизнь вырисовывается в чем-то главном, даже глубже, потому что здесь

нет мелочей, все важно — и отсюда большая рельефность в ее изображении. А сюжетно рассказы из цикла выстроены так, что и вовсе не задумываешься — с вымыслом они или без него. Многое в «Приоткрытой двери» открывает нам какие-то годы в жизни писателя. В этом смысле необычайно увлекательны страницы большого очерка «Гостиница «Лондонская»», история одесской одиссеи писателя. Как раз именно в этом очерке он сопоставляет два взгляда на одно и то же событие. Встречая Новый год с известными французскими писателями Эльзой Триоле и Луи Арагоном, он стал свидетелем необычайного происшествия, когда в ресторанный зал вошел элегантно одетый знаменитый укротитель львов Борис Эдер, а рядом с ним, без всяких мер предосторожности, грациозно шествовала его львица. Чем приглянулась этой нубийской красавице выполнявшая свою работу кассирша — этого не понял никто, даже и сам укротитель. Свою, как ему казалось, точную запись события в совершенно новом свете он читает в романе Эльзы Триоле «Инспектор развалин». Нет, ему не все равно, что действие из Одессы переехало в какой-то совершенно другой, в другой стране город, вместо ресторанного зала возник дансинг и все подробности поведения людей приобрели не только не драматический, а какой-то развлекательный оттенок. Он не скрывает, что прочитанный отрывок ему явно не по нутру.

Самый большой раздел в «Приоткрытой двери» — «Из старых записных книжек (1924–1947)». Раздел этот поражает масштабом интересов автора, разнообразием записей. Нелепый заголовок, заметка в газете, суета базара, эпитафия на могиле (он вообще любил посещать кладбища), меткое словечко, вид случайного прохожего, яростный спор, добрый, бесконечно порадовавший его чей-то поступок, цитата из Вел. Хлебникова, протопопа Аввакума, В. Гюго, заметки к будущей книге под шифром «Катя», рассуждения о словесной инструментовке прозы, реальные эпизоды из текущей жизни — да, это типичная записная книжка, свидетельство жадного интереса писателя к жизни в самых разных ее проявлениях.

Может быть, самый важный для писателя раздел — «Разговор с читателем» — посвящен в основном детям. Писателю важно сказать здесь многое: и что существует искусство быть читателем. Он ответит на вопрос о том, как он работает. Обращаясь ко взрослым, он прямо будет говорить, что получается из ребенка, которому ввиду его детского возраста слишком многое разрешалось («Без компаса»). Он яростно обрушится на ложь, на фальсификацию в прессе, когда нестоящий поступок расхвалят до небес, а скромный, настоящее дело, сделанное детьми, не

заметят, замолчат («Моральная тема»). Его волнуют причины детской преступности, и он не видит выхода в предлагаемом читателем ужесточении наказаний. Он предлагает серьезно задуматься над принципиальными вопросами воспитания человека и не вычеркивать преступившего закон подростка из разряда людей («Игра с огнем»). Этот раздел заканчивается двумя статьями: «О милосердии» и «Хуже трусости». Понятие милосердия давно уже вошло в разряд старомодных, и Пантелеев со всей присущей ему страстью хочет сделать все, чтобы это понятие снова стало закономерным для современного общества. Мальчики и девочки бросили в беде товарища, которого не очень любили в классе. И писатель задается вопросом: где, в каких заповедях сказано, что помогать надо только хорошим? Что было бы, скажем, если бы медицинская сестра, прежде чем перевязать раненого, стала бы выяснять, симпатичный ли он человек, заслуживает ли он ее забот и милосердия? На это ответят: «То в бою, в сражении». Как сильно звучат слова писателя: «Но жизнь… это всегда бой. На каждом шагу требуются от тебя те же качества: и мужество, и отвага, и стойкость, и честность, и прямодушие — и милосердие тоже». И тут же, обращаясь к своему читателю, спрашивает: «Знакома ли вам радость доброго поступка?»

Однажды Пантелеев обратился к юным читателям с вопросом: что вы знаете хуже трусости? Он получил множество ответов, но один потряс его больше всего: «Хуже трусости — отсутствие какой-либо совести». Этот ответ оказался необычайно близким главной теме всего его творчества. Когда писателя как-то спросили, есть ли главная тема в его творчестве, он ответил: «Да, пожалуй, есть. Это тема совести». Эту тему он пронес через все свое творчество.

Многие годы жизни Пантелеев писал еще одну книгу — «Верую», но опубликована она была уже после его смерти в 1991 году[17]. По существу, эта книга, как точно определил ее составитель, — исповедь писателя. Это серьезнейшая и глубокая попытка заново увидеть свою жизнь и быть абсолютно честным в каждом эпизоде, в каждой строке. На страницах книги возникают уже знакомые, а подчас и совершенно незнакомые люди — и только такие, которые помогают ему обрести себя в своих духовных исканиях. Пантелеев был человеком глубоко верующим. Он был уверен: «Душа просыпается и тянется к высокому. Далеко не всем удается достигнуть этих высот, и тогда человек страдает». Так перед читателем раскрывается здесь тот Пантелеев, который и видел свое призвание в том, чтобы помочь человеку тянуться к лучшему, к высокому. Не случайно в очерке «Маршак» Пантелеев вспоминает о том времени, «когда наши сердца были еще

мягкими и нежными», и Маршак сказал ему однажды, обняв его и посмотрев ему прямо в глаза: «Дорогой мой, я так хочу, чтобы ты был как аттический воин — всегда прямой, несгибаемый, честный». Таким Пантелеев оставался всю жизнь, выполняя свой писательский и человеческий долг.

notes

Примечания

1

Имеется в виду раздел «Из старых записных книжек (1924–1947)», Пантелеев, «Приоткрытая дверь…», «Советский писатель», Л., 1980.

2

Ленин В. И. Полн. собрание соч. Изд. 5-е. Т. 48, с. 489.

3

Там же, т. 49, с.644.

4

Ей было тогда сорок четыре года (1882–1929)

5

Крупская Н.К. З.И. Лилина (некролог). — «На путях к новой школе», 1929, № 6, с. 9–10

Комс. правда, 1967, 11 июня.

Сорока-Росинский В.Н. Школа имени Достоевского. — вечерняя Красная газета, 1927, 20 марта.

8

Из письма автору книги от 25 марта 1983 года.

9

Из письма И. Андроникова автору книги от 9 февраля 1968 года.

10

Радость придумывания (нем.).

11

Л. Пантелеев. Повесть «Ленька Пантелеев и моя подлинная биография» // Нева. 1994. № 4. Вступит. статья и публикация С. Л. Лурье.

12

Подробнее о возникновении альманаха, получившего название «Костер», см.: «Нева». 1966. № 5.

13

Е. Путилова. Л. Пантелеев. Очерк жизни и творчества. Л.: Советский писатель, 1969.

14

Например: Ольга Берггольц. Говорит Ленинград. Л.1946; «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина

15

Советский писатель.

Л.: Советский писатель, 1966.

17

Предисловие, составление, подготовка текста С. Лурье